НЁМАН

5/2013
МАЙ

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Издается с 1945 года
Минск

«СЯБРЫНА»: БЕЛАРУСЬ – РОССИЯ
Совместный номер издан при поддержке
Постоянного Комитета Союзного государства

СОДЕРЖАНИЕ

Редакционно-издательское учреждение
«Издательский дом «Звязда»

Заместитель директора — главный редактор
Алесь Николаевич БАДАК

К сведению авторов

Авторы несут ответственность за приводимые в материалах факты.
Рукописи не рецензируются и не возвращаются.
Редакция только сообщает автору свое решение.
Материалы, отправленные только по электронной почте, редакция не рассматривает.
Объем прозаических произведений не должен превышать 6 авторских листов.

Техническое редактирование и компьютерная верстка *С. И. Таргонская*
Стильредактор *С. В. Казак*
Набор *Е. Г. Кахновская*

Подписано к печати 08.05.2013 г. Формат 70 ×108 $^1/_{16}$. Бумага газетная.
Печать офсетная. Усл. печ. л. 25,20. Уч.-изд. л. 25,48. Тираж 3266. Заказ 1478.
Цена номера в розницу 15 500 руб.
Журнал «Нёман» зарегистрирован в Министерстве информации Республики Беларусь.
Регистрационный № 11 от 22.08.09 г.

Юридический адрес: 220013, Минск, ул. Б. Хмельницкого, 10а.
Почтовый адрес: 220034, Минск, ул. Захарова, 19.
Телефоны: главного редактора — 284-84-61; заместителя главного редактора, отделов прозы, поэзии, публицистики, критики, зарубежной литературы — 284-80-91.
e-mail: neman-lim@mail.ru

Республиканское унитарное предприятие «Издательство «Белорусский Дом печати».
220013, Минск, пр. Независимости, 79. ЛП № 02330/0494179 от 03.04.2009 г.

Учредители — Министерство информации Республики Беларусь; общественное объединение «Союз писателей Беларуси»; редакционно-издательское учреждение «Издательский дом «Звязда»

«Сябрына»: Беларусь — Россия

Если собрать вместе произведения российских авторов, которые на протяжении последних лет печатал «Нёман» в номерах, выходящих при поддержке Постоянного Комитета Союзного государства (этот выпуск — уже восьмой!), получится целая библиотечка. Войдут в нее, конечно же, рассказы Валентина Распутина, Юрия Бондарева, Василия Белова, Владимира Солоухина, стихи Владимира Кострова, Константина Ваншенкина, Юрия Кузнецова, Юлии Друниной, Глеба Горбовского и многих других замечательных мастеров слова, чьи имена, помимо прочего, еще и символ нашего духовного и культурного родства. Войдут в нее, несомненно, и произведения тех талантливых поэтов и прозаиков, широкая известность к которым в России пришла уже, в основном, в конце XX или даже в начале XXI веков. Сегодня на них в немалой степени лежит почетная ответственность не только за состояние отечественной литературы, но и — вместе с белорусскими коллегами — за дальнейшее развитие белорусско-российских литературных взаимосвязей.

То, что современная русская литература очень интересна и многогранна, легко убедиться, опять-таки, по тем же нёмановским публикациям. О том, что наши взаимосвязи с каждым годом ширятся, становятся разнообразнее, постепенно приближаясь к уровню, который был во времена существования СССР, свидетельствуют многочисленные совместные мероприятия, инициаторами которых являются как белорусская, так и российская сторона.

Что же касается библиотечки... Недавно из печати вышла прекрасная книга «С думой о Родине», первый том проекта «Созвучие сердец», цель которого — познакомить читателя с современной литературой всех стран, входящих в Содружество Независимых Государств. В этот том вошли произведения современных белорусских и российских авторов, большинство которых печатались на страницах «Нёмана» и «Нашего современника». И можно не сомневаться, что с каждым годом эта библиотечка будет пополняться новыми произведениями, новыми именами — яркими и самобытными.



ВЛАДИМИР ХОМЯКОВ

Победою спасенные, замрем

Алфавит

Шесть весен мне.
Победы полдень светлый.
Земля в защитной зелени травы.
И молодой полынью пахнут ветры.
И одинок, и горек взгляд вдовы.

И я, впервые встретившись с печалью
у мраморных мемориальных плит,
по именам героев изучаю
спасенный ими русский алфавит.

9 Мая 1945 года

Моим родителям

Рязань ликует.
Вешний цвет вокруг.
Пульсируют знамена кумачово.
Мелькает стайка легкая подруг —
на целый день отменена учеба!

Они на площадь Ленина бегут:
там танцы и гармошек переливы,
оркестры там военные ведут
все больше довоенные мотивы.

Девчонка многолюдьем смущена.
Но вальс
ее подхватывает плавно.
Ей — восемнадцать.
Кончилась война.
И жив отец — прислал письмо недавно.

Кружится вальс.
Шумит везде народ.
Как тесно здесь
и до чего просторно!
Ей вечером от мамы попадет
за то, что туфли новые протерла.

...А где-то, под Берлином,
военврач
с друзьями пьет по кругу за Победу!
А рядом — чей-то смех,
и чей-то плач,
и чей-то крик:
— Теперь домой поеду!

И военврач глядит сквозь дальний дым,
кричит со всеми,
плачет
и смеется.
...А над леском, угрюмым и немым,
налившись кровью, тяжелеет солнце.

Державный день

Поздравить чтобы победителей
с Великим днем,
Державным днем,
мы не в дома своих родителей,
а на могилы к ним придем.

Разложим на газетной скатерти
снедь
да забудем про вино:
пускай порадуются матери,
что мы не пьем уже давно.

Тюльпаны,
нами принесенные,
росу уронят поутру.
Замрем,
Победою спасенные,
замрем на праздничном ветру.

На солнце вспыхнут звуки медные
и вознесутся в облака.
И там, на площади,
победные
слова промолвит сын полка.

Одним останется единственным
из тех, кто слышал ближний фронт.
А те, кто был в огне неистовом,
уже уйдут за горизонт.

За горизонт,
где синь закатная
и остывающая мгла,
куда тропинка безвозвратная
сквозь всю Россию пролегла...



НИКОЛАЙ ИВАНОВ

Брянская повесть

Новелла

Бежала уточкой, норовя обогнать свою палку-костыль и удержать от налетающей пороши брезентовые крылья плаща. Я спешил, но старушка, видать, торопилась еще больше.

— Ты чего стал? — настороженно заглянула она в приоткрытую щелочку окна.

— Подвезти.

— А ты меня знаешь?

— Нет.

— Тогда почему стал?

— Снег начинается, вы торопитесь, я еду. Садитесь.

— Но ты точно меня не знаешь?

— Не знаю.

Ветер с разбега швырнул пригоршню снега в машину, на сшитый во времена развитого социализма плащ старушки, ее увитую венами руку, лежавшую на клюке.

— Бабуля, время! Едем.

Но она продолжала пристально всматриваться в меня, угадывая породу. Ни на кого в ее памяти я не оказался похож, но просияла в озарении, найдя неопровержимый аргумент моего возможного коварства:

— А почему тогда другие проехали мимо?

О-о, святая простота!

— Ну не знаю я, бабуль. Меня подвозили — я подвожу. За других не отвечаю. Поедете? — перебросил на заднее сиденье бутылки из-под пива.

— Но ты точно меня не знаешь?

— Точно. Не знаю.

Глянула на небо, по сторонам, открыла дверцу. Прежде чем сесть, сбросила дождевик, как в деревне снимают галоши перед тем, как войти в дом. Смотала брезент в рулон, прижала к животу: если испачкает, то себя. Осторожно усевшись, двинула зажатой меж колен клюкой, словно штурвалом в самолете — вперед.

Набирать по здешним дорогам крейсерскую скорость — оставить на ней подвеску или вылететь в кювет.

— А что у вас дороги такие разбитые?

— Так война ж была.

Не шутила, не ехидничала — правду говорила и верила в это.

Скрывая улыбку, отвернулся к окну. Молоденькие деревца, летом зелеными солдатиками бежавшие по косогору в атаку, сейчас, убеленные седым инеем, выходили из боя по колено в снегу.

Война, так война. «Мы вели машины, объезжая мины...» Сократил на свою голову дорогу по проселкам! Хотя здесь народ тоже куда-то спешит.

— И куда можно торопиться в такую погоду?

— Так снег же понедельники не отменял! А у меня дед только в такие дни на рыбалке. А нынче очки забыл. Несу вот, а то без них и без меня как слепой. Крайней-то я окажусь, что не проверила.

Похлопала по карманам: не попутал ли бес и ее? Вытащила перевязанный резиночкой очечник, как в шкатулочку, заглянула внутрь. Порылась в ворохе бумажек, оказавшихся под очками. Ноготком выцарапала с самого низа сотенную, удивилась, через дедовы же очки проверила ее на свет. Укоризненно посмотрела на меня. Ясно, отвечать за поведение всего мужского населения страны — мне...

— А божился, как иконе, что потерял. Вот теперь будет ему ни дар, ни купля, — затолкала бумажку в карман кофты, зашпилила личный сейф булавкой. — Сам-то где живешь?

Ехали в сторону Украины, кивнул назад:

— В России.

— А я дома. Пятистенник. Пятерых и родила, каждому по стене. Да только разбежались все. Кукуем с дедом вдвоем. Ты, видать, такой же. Летун? — ей очень хотелось оправдаться передо мной, чужим человеком, что остались они с дедом одни не из-за плохих детей, а что времена нынче такие.

За стеклом начинающаяся поземка била в грудь собравшихся на обочине воробьев. Сугробы, присевшие отдохнуть на поваленные вдоль дороги деревья, приглашали присоединиться, но нам посиделок не надо. Нам вперед, на Киевскую трассу.

Скосил глаза на панель приборов. Цифры в минутах сменяются быстрее, чем в километрах...

— А ты не летай быстрее своего ангела, — утихомирила попутчица, все замечая. — Раз сдерживает в пути, значит, хранит от беды, которая может ждать тебя впереди. А мне вон там, около Барыни, останови, — кивнула на железный транспарант с дородной колхозницей, державшей в руках проржавевший сноп пшеницы.

— Почему Барыня?

— Так мы все работали, а она всю жизнь простояла с улыбкой. Стопроцентная правда, это я не перцем чихнула.

— Ясно. Далеко до озера?

— За тремя кустами. Добегу. А то дед заревнует, что на машинах без него разъезжаю, — поулыбалась несбывшемуся. — Спасибо тебе, хоть и не знаешь меня. Авось и тебе когда от людей в нужную минуту воздастся.

Помявшись, вскрыла сейф, на ощупь распознала его содержимое и положила на панель две конфеты:

— Вместо курева.

Выйдя, раскатала обратно плащ, кивнула то ли мне, то ли небу за помощь и снова побежала, переваливаясь уточкой, к своему слепому деду-селезню. Поймать вам золотую рыбку!

А мне опять наверстывать время, благо до трассы тоже три куста. На таких одинаковых расстояниях от пересечения дорог обычно ставят храмы...

Ударить по газам не получилось и на Киевке. На первом же пригорке, собрав гармошку из нетерпеливых, мальками дергающихся легковушек, полз трактор-«петушок», издевательски кивая всем задранным ковшом. Сколько не имей лошадей под капотом, а подчиняйся второй скорости

трактора. Тянись следом, читай указатели, смешавшие красоту и политику: «Красная поляна», «Красный бор», «Красная коммуна», «Красный колодец». Не хватало еще какой-нибудь «Красной синьки» — в Питере в двадцатых годах назвали так завод, выпускавший побелку. Но там был революционный подъем, а тут едешь, как на быке. Давай же, то ли брат, то ли сестра «Беларусь», мне еще возвращаться назад!

Рвануться вперед всем скопом смогли, лишь выскочив на пригорок и получив обзор.

Весь скоп и остановил своей волшебной палочкой вприпрыжку выбежавший из-за автобусной остановки радостный гаишник. Вот же засада в прямом и переносном!

Я оказался в веренице последним и мог лишь молча наблюдать, как толстый от наброшенного на плечи бронежилета капитан собирал, словно жирный котяра сметану, водительские удостоверения. Вальяжность гаишника убила добрый десяток минут, и пришлось поверх водительского протянуть служебное удостоверение. Усы кота-капитана сжались, но только лишь для того, чтобы сдержать улыбку при старшем по званию. Постучал документами по палочке. А она ведь черно-белая, как наша жизнь...

— Скоро у нас будет как на Кавказе, товарищ полковник.

— А что на Кавказе?

Я только что прилетел оттуда, завтра возвращаться обратно, потому иронии не принял. Хотя интересно услышать о «родных» местах со стороны.

— А там у каждого нарушителя есть оправдательный документ, — поведал капитан. И не преминул подчеркнуть свое пребывание в «горячей точке». Может, и затевал весь разговор ради этого. — Неделю назад в Нальчик летали на усиление. Тормозим парнишу лет восемнадцати. Улыбается — я свой! И показывает листок стандартной бумаги, на котором на ксероксе переснято удостоверение его двоюродного брата из вневедомственной охраны. Так что все может быть, — капитан развел руками, размышляя, отдавать ли документы.

В другой раз пояснил бы ему разницу между парнишей и полковником, ксероксом и ксивой, проверкой документов в Моздоке и лежкой под огнем артиллерии в Аргунском ущелье. Но я спешу, меня ждет в госпитале мой друг Лешка, вызвавший этот самый огонь на себя. У меня нет времени на разговоры с тобой, капитан.

Тот неторопливо заглянул в машину. Сдерживая эмоции, я глубоко вздохнул: все законно и правильно, сам именно так приучал подчиненных осматривать транспорт. Только вот по замершему взгляду проверяющего понял, что сам же и оставил ему зацепку — бутылки из-под пива! Но не оправдываться, не обращать внимания, перевести разговор...

— Но что мы нарушили? Пошла прерывистая разметка...

— Товарищ полковник, как вы думаете, неужели мы здесь случайно стоим? Там выставлен знак «Обгон запрещен». Ждите, вызовем, — капитан еще раз глянул на вещественные доказательства и, пропустив только-только подъехавший трактор, пошел к спрятанной за автобусной остановкой машине.

Зато поземка ярым нарушителем дорожного движения пересекала двойную сплошную, вылетала на встречку, переваливала отвал и неслась в снежное нетронутое безмолвие полей. Мне бы ее вольницу и безнаказанность. Хотя бы на сутки!

Прикрыл глаза, откинулся на сиденье. Пока все складывается против того, чтобы я успел к сроку в Севсько — старинный русский город Севск, расположенный на границе с Украиной. Но ведь все равно успею, иного выхода нет. Просто придется гнать посильнее. А попутчица правду сказала про опасность впереди. Довез бы очки до озера, не уперся бы в «петушка». Вот и не верь приметам. Хотя и другая пословица есть: тише едешь — никуда не приедешь...

Гудок гаишной машины возвратил к реальности: меня звали. Арестованная вереница рассосалась, только один из водителей звонил по мобильнику, явно поднимая на выручку знакомых. Мне поднимать некого, мои все в Чечне...

Мнущийся около машины капитан мурлыкал в усы песенку, за рулем оказался майор. Это лучше. В одной звезде больше мудрости, чем в четырех капитанских жажды власти над людьми.

Не ошибся.

— Вы слегка увлеклись скоростью, товарищ полковник.

— Даже не спорю, — поднял я руки.

— Не пили сегодня?

— И вчера нет. Вторые сутки за рулем. И надо успеть к утру вернуться в Москву. Аэропорт Чкаловский. Моздок, — произнес я паролем путь из точки А в точку Б. Гражданским они ничего не скажут, людям в погонах это как путь из варяг в греки.

Майор понял и оценил, что я не выпячиваю Чечню охранной грамотой.

— Подождите немного, сейчас товарищ отъедет, — кивнул на звонившего.

Тот уезжать без прав не собирался, зато заглянул внутрь машины капитан:

— Куда Васю?

Майор скосил на меня глаз, но посчитал за своего и отдал распоряжение:

— Гони обратно.

Через минуту мимо нас на гору, подгазовывая себе синими точками-тире, весело побежал «петушок». Теперь уже ясно: собирать очередную партию лохов. Не знаешь, что лучше: Кавказ со своей наглостью или родная глубинка с подвохом...

Мою горькую усмешку майор попытался не увидеть, но оправдаться посчитал нужным:

— Самое гиблое место. За смену две-три аварии. А так хоть сдам ее без трупов.

Стопка отобранных водительских прав на панели перед стеклом не тянула на свидетельства о смерти, но даже если она перекроет один некролог, капитан-кот не зря слизывает с пригорка свою сметану. Вот только если бы не исподтишка...

— Осторожнее, товарищ полковник. Дорога скользкая.

— Спасибо. Справлюсь.

Снег кружил уже по-взрослому, с уверенностью в свои глубокие тылы. Фуры на трассе начали сбиваться в паровозики, и обгонять их без риска схватить лобовое столкновение сделалось практически невозможно. Но я обгонял — спасибо, товарищ майор, за задержку. Понимаю ситуацию, вот только самолет ждать не станет. И вначале надо добраться до Севска, родины моего друга, которого я подставил под пули.

— Держись, родная, — я сжимался в пружину, чтобы не вильнуть и не цапнуть колесом снег на обочине. Тогда точно принесут цветы, так неестественно алеющие среди дорожных отвалов, и мне. Сейчас нельзя. Никак нельзя.

Ангел, наверное, выбился из сил поспевать за мной. Держись, брат! Сам меня выбрал, не я тебя. С другим бы наверняка лежал на диване...

Самыми одинокими на зимней трассе кажутся автобусные остановки. Но когда впереди замаячила маленькая фигурка, сгорбленным столбиком стоящая у дороги, я закачал головой: не-ет! Я что, один на всей трассе? А если бы не приехал? Все бы так и остались стоять или бежать своим ходом? Подберут те, кто не так спешит...

Сзади накатывали железнодорожным составом фуры. А стоял, кажется, пацан. Что ты тут делаешь в снегопад? Тоже на рыбалку или уже с нее? Подарю Лешке после госпиталя удочку, приедем с ним на его Брянщину и засядем у лунки на все дни недели. Кроме понедельника.

— Быстрее! — я выбросил дверцу перед парнем.

В зеркало заднего вида надвигалась снежная круговерть с мощными фарами внутри. Они мигнули, предупреждая об обгоне, и я прикрыл глаза: все, второй раз мне эту грохочущую, клубящуюся в снегу массу не обойти. Парень-парень...

Тот, похоже, уже не надеялся, что его кто-то подберет. В легкой курточке, кроссовках, вязаной шапочке, паренек полусогнутым ввалился в машину и остался на сиденье в этой же позе, совершенно равнодушный, что с ним будет происходить дальше. Фуры, волнами качая машину, проносились мимо, и я направил на нового пассажира все вентиляторы от печки. Пропустив весь затор, выехал на дорогу. Возвращаться все равно в темноте.

Несколько минут проехали молча. Паренек оживал постепенно: сначала зашевелился, потом сел поудобнее, огляделся.

— А я все равно думал, что кто-то добрый найдется и не даст замерзнуть, — совсем как старушка перед этим, кивнул в благодарность. Протянул руку: — Леша.

Пальцы были холодными, но зубы уже не стучали.

— Привет, Леша. Моего друга тоже так зовут. Сколько же ты стоял?

— Часа два.

— А куда добираешься?

— В Суземку. К крестному.

До поворота на Суземку было километров восемьдесят, после него еще тридцать...

— А почему не на автобусе?

— Билет 120 рублей. А мамка дала только пятьдесят три. Водитель не посадил.

— Надо было ехать?

— У меня сегодня День рождения, пятнадцать лет...

— Поздравляю.

— Спасибо. А крестный еще летом обещал подарок. Как вы думаете, что он может подарить?

— А он знает, что ты едешь?

— Нет. Но он же обещал!

Господи, в какие дикие края я попал! Что это за страна такая, полная наивных людей! А если крестный забыл про обещание? Или, хуже

того, лежит пьяный? Или просто уехал и дом закрыт? Леха ты Леха, голова два уха...

— Бери конфету, — кивнул ему на свой утренний заработок.

Успел только вытянуть шею и осмотреть колонну, а сосед уже облизывал фантики синим языком. Значит, краска на обертках поганая...

Дорога пошла волнами, сведя видимость к нулю. Рисковать попутчиком в его день рождения стало непозволительно. Ну и ладно. Передохнем. А еще лучше — дозаправиться на обратную дорогу и перекусить. Все равно одинаково со всеми подъедем к суземскому повороту.

— Перекусим? — кивнул на заправку.

Лешка недоверчиво поднял глаза, торопливо кивнул, пока я не раздумал.

— Что взять?

— А можно сосиску в тесте? Такие бывают, я знаю.

— Иди выбирай, пока заправлюсь.

Именинника нашел у витрины — он словно сторожил вожделенный бутерброд недельной заветренности.

— Вон она, — прошептал с облегчением часового, сдавшего пост.

— Садись туда, — кивнул я на дальний столик. Наклонился к девчонке за стойкой: — Тому парню — хороший кусок мяса. С полной тарелкой картошки. Салат со всей зеленью, какая есть. Еще... давайте компот с сырниками. И сосиску в тесте. А мне кофе. Покрепче.

За столом Лешка перегнулся, чтобы не слышали остальные, подпольщиком прошептал:

— Сзади иностранцы сидят. Видите? Думал, хохлы, а прислушался — нет, я по-ихнему понимаю. Наверное, молдаване.

Подошла девушка с полным подносом, принялась выставлять тарелки. Леха проводил каждую завистливым взглядом, но увидев свой заказ, облегченно выдохнул. Однако я сдвинул все порции к нему.

— С Днем рождения, Лешка.

— Это мне? Все? — голос его дрогнул, в глазах показались слезы. Не удержавшись, покатились по худым щекам, булькнули в компот. — А я еду и есть хочу. Еду и хочу есть...

— Я машину посмотрю, а ты ешь, — оставил я парня одного. Кофе можно и в кабине попить...

Допить не успел. Утирая рот, выбежал с зажатой в руке сосиской попутчик. Может, боялся, что уеду? Нет, Леха, ты земляк моего друга. И имена у вас с ним одинаковые! А значит, я тебя не оставлю.

— Там был такой кусок мяса! — убедившись, что я на месте, начал именинник с самого восторженного. Видать, и впрямь мать не смогла наскрести на билет, если парень забыл, когда сытно ел. — Такой кусище! Спасибо.

Улыбнулся счастливо, по-хозяйски уселся на сиденье, улыбнулся:

— А я теперь в Москве был и в кафе. И на метро ездил. Там, чтобы попасть в него, надо сначала карточку купить и приложить к желтому кругу. Я два раза проехался по эскалатору — и привык сразу. Только народу там — табуны. Та-бу-ны!

Он еще рассказывал, как надо вести себя в Москве, чтобы не потеряться, как сторониться цыганок. А главное, не покупать продукты в первом попавшемся магазине. Потому что если обойти несколько, то хоть на пять копеек, но товар найдется дешевле...

— Леха, вон поворот на твою Суземку. Люди стоят, значит, автобус скоро придет. Я бы довез до конца, но очень спешу. К твоему тезке, он раненый лежит. Обещай, что сядешь на автобус.

— А пешком и нельзя. Волки завелись. Не дойду.

— Это тебе на билет, — я протянул деньги.

Я сидел сбоку, но Лешка посмотрел вверх, словно они свалились оттуда. А может, чтобы просто проморгаться? Прекращай это мокрое дело, брат! И не заражай других.

— Спасибо за пожертвование.

Тебе спасибо, Лешка. За твою наивность и открытость. Что оказался одного имени с другом, на которого я ненароком навел врага. Я, когда останавливался, не знал, что у вас одно имя. Но пусть получится, что и таким образом я отмаливаю свой грех. Теперь одна просьба ко всем святым: чтобы был дома твой крестный...

А мне — все! Лимит остановок исчерпан. Хоть пожар, хоть наводнение, а мой путь только к колодцу на окраине Севска. Рядом с женским Крестовоздвиженским монастырем. В госпитале Лешка попросил у меня воды из него. Не просил, конечно, а лишь помечтал, облизывая сухие губы:

— Воды захотелось. Из нашего колодца...

— Воды просит, — сказал я врачу, когда вошли к нему в кабинет. В углу рядом со скелетом стоял кулер, но я уточнил: — Из колодца около дома.

— Это было бы, между прочим, очень кстати, — вдруг поддержал главврач. Себе налил в чашку из кулера. Набросив на скелет халат, поддел поникший череп анатомического пособия, заставляя гордо вскинуть голову. — В природе все просто. Человек на 80 процентов состоит из воды, и ее структура полностью совпадает только с той, которую он пил с рождения. Так что если больному питаться пищей, которая окружала его с детства, и пить воду из родного колодца, выздоровление пойдет значительно быстрее.

В тот же вечер я отыскал военный борт из Моздока на Москву и договорился на обратный вылет. Двухлитровые пластиковые бутылки из-под пива — это набрать воды Лешке. И завтра утром я должен стоять с ней на аэродроме, если хочу успеть к повторной операции.

— Сегодня ночью были голубые пакеты, — усмехнулся Лешка тогда в реанимации. Пакеты для вывоза умерших и впрямь делают разного цвета — черные, голубые, золотистые... — Двое ночью захрипели и... А я лежу и приказываю себе дотянуть до утра. Чтобы уж если душа летела над землей, то... на рассвете, а не в темноте. Почему-то это показалось важным...

Уставился в высокий потолок. Однако открылась дверь и вошел бог земной — наш военный хирург Васильич. Постучал для меня по часам — ты просил минуту...

— Это я виноват, Васильич, — уговаривал я его накануне, чтобы прорваться в реанимацию. — Я вышел с ним на связь.

— А мне сказали, что он сам вызвал огонь на себя.

— Да, но все наоборот. То есть сначала он ушел со своей группой брать главаря. Трое суток сидел в норе, как мышь. А я не знал. Никто не знал. А тут внучка родилась. Он так ее ждал!

Хирург прищурил глаз, прикидывая наш возраст. Да, не мальчики. Но что делать, если на Кавказе воюем мы, деды. В Афгане ждали рож-

дение своих детей, на Кавказе — уже внуков. Страна не воспитала замены, Кремль с Белым домом, как шерочка с машерочкой, барахтались все эти годы в нефтяных, митинговых и барахоличьих проблемах...

— И что? При чем здесь внучка?

Врач намеревался остаться неумолимым. Было от чего: через три дня у Лешки повторная операция и лишний раз волновать пациента — всем дороже.

— А я стал выходить на него по связи. Поздравить. Я так упорно пробивался в эфир, что он испугался — что-то случилось. И ответил. И его запеленговали «духи». Так он из охотника сам превратился в дичь. Потом уже был бой и огонь на себя.

— Понятно. Тебе одна минута. Он очень слаб. Дай Бог продержаться критические три дня.

Три дня кончаются завтра. А я пока за пятьсот кэмэ от Москвы плюс полторы тысячи от столицы до Моздока.

Снегопад чуть поутих, но переметы лежачими полицейскими пытались сбить скорость. Но только не сегодня и не для меня. Впереди показалась знакомая, нарастившая себе дополнительный хвост, колонна. Говорил же, что придем одновременно. Слева пошла окраина Севска, и первый купол от Москвы — как раз Крестовоздвиж...

Я не понял, почему вильнул хвостом летящий по трассе снежный вихрь. Но из него выпала, оторвавшись от общей колонны, последняя фура. Машина на глазах, перед глазами, стала крениться, хватать перепуганными колесами воздух, перегораживать путь. Я летел прямо под этот падающий двухэтажный дом, тормоза бессильно завизжали на скользкой трассе, меня закружило, и последнее, что увидел, — это обрыв. То ли крикнул, то ли подумал:

— Все!

Последний раз перед опасностью закрывал глаза при первых прыжках с парашютом, будучи лейтенантом. Потом запретил себе подобное. Поэтому, раз не помнил, что произошло при падении, значит, потерял сознание. Кратко, на миг, но случилось...

Да и когда пришел в себя, ничего не увидел: раскрывшийся жабьим ртом капот закрывал обзор. Прислушиваясь к себе, возможным травмам, повернул голову в сторону насыпи. И понял, что обманывался зря, что я все же разбился: сверху меня крестила монахиня. С черным клобуком на голове, с большим наперстным крестом поверх мантии и рясы с широкими, развивающимися на ветру рукавами. Значит, наместница монастыря. Может, самого Крестовоздвиженского. Но как смогла так быстро оказаться здесь? Ангел позвал? Хирург зря поднимал голову скелету...

Только как могла подняться на небеса вместе со мной и кабина? Может, я все же на земле? И жив?

Толкнул дверцу.

К машине, скользя и падая на крутом склоне, торопились люди.

— А должен был перевернуться, — услышал недоуменное.

— И косточки должны были лежать в рядок по насыпи.

Пока же по насыпи от моей машины шла всего одна колея. Значит, правая сторона Рено летела по воздуху. Старушка-попутчица не зря назвала меня Летуном. Знать, не подобрали еще цвет для моего мешка...

— Будь скорость поменьше, перевернулся бы. Как пить дать, — продолжали со знанием дела оценивать мою аварию любопытные.

Фраза напомнила про Лешку. Снег хотя и спас, приняв меня с машиной, как в ватную стену, но из этого рва теперь не выбраться до скончания века. Они, придорожные сугробы, давно звали меня на посиделки.

Только загорать на морозе, похоже, светило не одному мне. Из разорванного брюха развалившейся поперек дороги фуры вывалились мешки, перегородив и обочины. Задранные вверх колеса продолжали наматывать время. В голос дрожал треугольным нутром одинокий дорожный знак крутого поворота: ясно, что он не виноват, но дело для России знакомое — наказать невиновных и поощрить непричастных. Тем более, что трасса остановилась в обе стороны.

Любопытные разделились: одни шли смотреть фуру, другие оценивали мой полет. И только матушка, не двигаясь, продолжала шептать в мою сторону молитву. Я благодарно кивнул, подумав, что надо попросить помолиться за Лешку...

— Не вытащим. Перевернется, — вокруг моей машины продолжали топтаться, утрамбовывая снег, мужики.

Склон и впрямь слишком крут, и второго фокуса с полетом он, конечно, не допустит. Пробиваться вперед — дело не менее гиблое: снег по колено, за рвом хоть и хилая, но лесополоса, а дальше — заснеженное поле. Единственный выход — это оставить машину и добираться в Москву на попутках. Но ведь и попуток нет...

— Попробуй завести. На ходу хоть? — посоветовал парень в унтах. Вот так надо зимой собираться в дорогу, по-сибирски. А то вырядился в полусапожки...

Черпая ими снег, залез в машину. Не без тревоги повернул ключ. Есть! Толку от этого никакого, но завелась. И на табло горит красным контуром аккумулятор. Ясно, что это второстепенно, но с времен учебы в суворовском училище предупреждали: в армии все красное несет опасность.

— Аккумулятор показывает разрядку, — открыв окно, прокричал парню.

— Глуши.

Вслед за «сибиряком» в мотор нырнул шустренький, подпрыгивающий из-за малого росточка мужичок. Наверняка пахал колхозные поля. Сделайте что-нибудь, мужики!

Вернулись с уловом, показав всем разорванный ремень генератора. Тут даже если выбраться на дорогу, аккумулятор в одиночку, при морозе, проработает не более пятнадцати минут. Потом машина заглохнет и превратится в остывающий кусок железа и пластика. Влетел! По всей системе координат!

Зато парень не думал сдаваться.

— Мужики, у кого-нибудь ремень есть?

Несколько человек пошли к своим машинам, и вскоре с насыпи один за другим прилетело сразу четыре лассо. «Сибиряк» выбрал по размеру самый близкий к оригиналу, снова нырнул под капот. Вернулся из забитой снегом преисподней озадаченный. Одного взгляда на меня ему оказалось достаточно, чтобы понять: я тут ему не помощник. Мужичонка-механизатор тоже втянул голову в плечи, став ниже поднятого капота: в тракторе все проще, там с матерком как с ветерком, при одном молотке да отвертке можно объехать все поля...

— Кто-нибудь помнит схему, как надевать ремень? Здесь восемь шкивов.

Вниз, оберегая копчики, спустилось еще пару человек. Только бы не бросили, только бы у мужиков получилось! Они стали спорить, рисовать на снегу расположение шестеренок, угадывать ход ремня. От меня им и впрямь не было никакой пользы, и я вскарабкался на дорогу. Водитель фуры сновал вдоль рассыпанных мешков, оправдываясь перед кем-то по телефону. Пробка росла на глазах. Извини, Леха. Но я правда очень хотел тебе помочь...

— Храни тебя Господь, — подошла тихо игуменья. — Ангел-хранитель тебе крылышки подстелил.

Согласно кивнул. Все же успел он за мной. Вернусь в Моздок и выпишу ему увольнительную на сутки!

Но во взгляде настоятельницы читалось и осуждение за скорость, и чтобы оправдаться, пояснил:

— К вашему монастырю ехал. Там рядом колодец есть.

— Есть. Вкусная вода. Сами берем из него.

— За ней и ехал. Другу.

— Из самой Москвы? — монахиня посмотрела номер на моей машине.

— Из Чечни. Он ранен.

Матушка перекрестилась, зашептала молитовку. Поглядев на застывшие вереницы машин с обеих сторон, отошла, достала мобильник. Если ей на вечернюю молитву, то тоже не успеть. Хорошо, что я ни перед кем не виноват...

В конце пробки, убирая с дороги любопытных, закрутились под вой сирены проблесковые маячки знакомой гаишной машины. Позже всех, но все равно вовремя. Вызовут тягачи, кран, — что-нибудь ведь сделают. Не удалось майору спокойно завершить смену.

Одного взгляда ему хватило и оценить обстановку, и узнать меня. Капитана послал к фуре, мне укоризненно прошептал:

— Предупреждал же — осторожнее!

— Я, что ль, хотел этого?

Гаишник не погребовал спуститься вниз, окунуться вместе со всеми в мотор, вытолкнув плечом мужичонку. Потом нарисовал для «сибиряка» в воздухе загогулину, для гарантии повторив ее на снежной схеме. Поднялся обратно, на ходу вытаскивая мобильник.

— Алло, Вася? Трос есть? Дуй на Севский перекресток, надо будет протянуть машину по полю.

Через два часа Вася на «петушке» набивал колею по снежной целине, «сибиряк» вырубал окно в просеке, водители, черпая туфлями снег, спускались толкать мою «Реношку». Сверху крестила теперь уже всех игуменья. А по белому полю, словно черные воронята, утопая в снегу, шли от Крестовоздвиженского монастыря монашки с бутылями воды...



ИВАН ПЕРЕВЕРЗИН

Что мне свет или тьма?

* * *

Проклятый дождь... как надоело! —
уже не день, не два, а месяц —
он льет и льет с упорством смелым,
туманы плотные развесив...

И жатва, лишь начавшись, встала,
по ступицы увязли жатки
в земле, раскисшей небывало...
А ведь с дождя все взятки гладки...

В валках — неубранное сено,
созревший, но не сжатый колос...
И кажется, что вскрыты вены,
и кажется, что сорван голос...

Однолюбы

Милая! Я так тебя люблю!
Можно ли любить сильней? Не знаю!
Утром с твоим именем встаю,
полночью блаженно засыпаю.

Час назад ушла ты по делам,
а мне кажется, что безвозвратно!
Подступает враз к сухим глазам
горечь слез — откуда, непонятно.

Ведь вернешься, точно знаю я,
и, как солнце, полыхнет улыбка.
Слово скажешь — и душа моя
запоет, как золотая скрипка...

Ничего от жизни не хочу:
ни наград, ни денег, ни бессмертья,
лишь бы восходить, как по лучу,
к твоему огню из круговерти.

Милая! О как же ты светла!
В твою честь в душе играют трубы!
Не случайно нас судьба свела,
Видно, знала, что мы — однолюбы.

Во тьме

Вот еще одну ночь пережили,
но готовиться надо к другой...
День тяжел, как бурлящие мили,
и тягуч, как полуденный зной.

Мы пришли в этот мир неслучайно
и живем по любви неспроста, —
чтоб открылась небесная тайна,
и бессмертная святость Творца.

Но зачем сердце мучают страхи
перед тьмой непроглядной, когда
звезды, словно глаза росомахи,
хищно смотрят на нас сквозь года?

Неужель мы до слез не страдали,
Иль, напротив, у горних высот
слишком долго, смеясь, ликовали,
что теперь даже счастье не в счет?

Боже мой! Вновь вопросы, вопросы!
И попробуй ответ не найти, —
сердце рухнет, как поезд с откоса,
но во тьме нет иного пути...

* * *

Живут в душе воспоминанья
о трижды проклятой войне...
От ран, на соловьиной рани,
отец мой умер. Горько мне.

Я пережил отца на годы
и до сих пор сполна живу, —
примерный сын родной природы,
познавший счастье наяву.

Но, потеряв отца неправо,
хлебнул я горюшка с лихвой.
И потому войне кровавой
я счет могу представить свой.

Я и представил бы, да только
нет смысла прошлым сердце рвать!
И значит надо, как ни горько,
Мир вдохновенно воспевать!

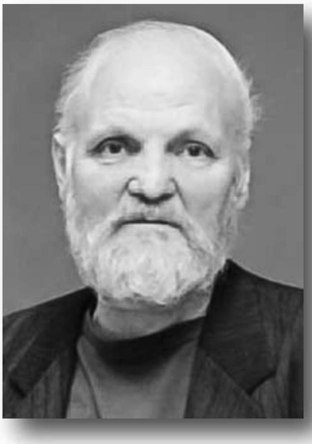
Он, правда, этого достоин,
хотя бы тем, что счастлив я,
что сердце бьется в непокое
любви под пенье соловья!

* * *

Я люблю свою жизнь и рассветное время,
только что же ты плачешь, ночная свеча?
Не легко слушать этих ведущих, а с теми,
если можно работать, то как вполплеча.

Разберемся со всеми! Придут наши годы!
Что мне свет или тьма? Все земное — со мной:
и синицы поют, и чисты небосводы,
и под каждою елкою — гриб моховой.

Я не скоро умру, вы печалиться бросьте!
Я еще не родился, а лишь на часок
заглянул к уходящему времени в гости —
и услышал младенческий свой голосок...



ВЛАДИМИР КРУПИН

Жертва вечерняя

Рассказы

* * *

И кто возразит, что в прошлое заглянуть труднее, чем в будущее? В будущем одно: Страшный суд, а в прошлом все то, что его готовило. Жил я среди грешных людей, сам грешил да еще и себя оправдывал: все такие, даже хуже. Но уже одна эта мысль говорит, что грешнее всех был я. Адам, сваливающий вину на Еву, был грешнее Евы.

Все теперешние мои вечера соединились в один вечер, в вечер моей жизни. Давай, брат, попробуем, пока есть силенки, отвязаться от того, что вспоминается внезапно или помнится постоянно, то есть уже мешает. Пора свой дом подметать. А сколько прожито, сколько пережито! Как пелось в моряцкой песне: «Эх, сколько видано, эх, перевидано, после плаванья в тихой гавани вспомнить будет о чем». Но не получилось в старости тихой гавани, да и перевиданное пригодится ли кому? Это же только мечтается, что чужое знание пригодится в «быстротекущей жизни». Каждый себе свои набивает шишки.

И посему я не о личном, я — о России.

Время горящей спички

В отрочестве и юности бывают такие безотрадные дни, когда хочется умереть. Тебя никто не понимает, не любит, а я-то такой хороший, вот умру, вот будете знать, кого потеряли. Вот уж поплачете, а я, гордый и красивый, поплыву в последней жизненной лодке, в деревянном гробу, в сторону заката.

Нет, говорю я сейчас себе, тому давнему юноше, надо жить долго. Долго, чтобы понять, что жизнь моментальна и что сравнение ее с горящей спичкой рядом с сиянием солнца очень верное. Время горящей спички — вот наша жизнь, а солнце — это вечность, которая суждена нашей душе. Нынче эта солнечная вечность заявила о себе такой жарой, таким пожигающим все живое зноем, что стало всем понятно, от президентов до сторожей: мы ничто перед волей Божией. И хотя ученые стали торопливо валить все на аномальные явления, хотя политики стали изображать заботу о людях и обещать много чего, жара воцарилась как справедливое наказание за наши грехи, и как раз в дни ее владычества я и приехал в родное вятское село, называемое теперь поселком.

В моей родине есть такая сердечная магнитность, что не надо и причин, чтобы ехать сюда. Но нынче была еще и особая причина: исполнялось ровно пятьдесят лет с той поры, как меня увезли отсюда. Из села, самого лучшего

на всем белом свете. Да, поверьте, ибо за полвека я успел походить, поездить, поколесить, полетать, поплавать по пространствам планеты и мог все со всем сравнивать.

Полвека. Никто тогда не спросил, хочу ли я уезжать, меня просто призвали в славные ряды защитников Отечества. Наголо остригли, привезли на сборный пункт, а там — шагом марш в товарный вагон.

И — жизнь прошла. Видимо, и не могла пройти иначе. Мы, в отличие от нынешней молодежи, не выбирали судьбу, она выбирала нас. Мы не искали в жизни выгоды, жили по потребностям Отечества. Так вот, полвека. И отлично осознаю, что прожил бы их как-то иначе, если бы все эти годы не жила в моем сердце Кильмезь. Ее красота, ее люди, ее труды, ее уроки. Здесь была прожита первая полнота чувств, и такая полнота, силы которой потом я уже не испытал. Эти влюбленности до того, что сердце колотилось в горле, эти обиды до горьких одиноких слез, это ликование совместных трудов на сенокосе, на воскресниках, эти восторги летних купаний и зимних полетов на лыжах с крутых гор. Что в московской жизни могло все это заменить?

Вообще, в мире ничего не меняется со дня сотворения его. Человек тот же, как и прародитель Адам, да и истории у человечества нет, только одно: мы или приближаемся к Богу, или удаляемся от Него. В годы, когда нас насильно удаляли от Бога, даже казалось, что мы вырастаем без Него, но кто же спас Россию, как не Господь? Других защитников у России нет. Кто нас хранил в дни войны, голода, лишений, сиротства?

В то раннее утро перед отправкой в армию, когда я пошел прощаться с селом, было попрохладнее, но все было то же: земля, река, небо, наше кладбище, на котором уже тогда были могилки дедушки и бабушки. Прошел по тем улицам, где жили друзья и подруги. Их уже и не было в селе: все где-то или учились, или работали. Бесхозно и сиротливо белела около Дома культуры, оккупировавшего здание церкви, танцплощадка и летний кинотеатр. Поднимая пыль, растянувшись на сотни метров, брело стадо коров. Из репродуктора на столбе, напротив библиотеки, передавалась бодрая утренняя зарядка, и, будто под ее команду, энергично хлопал длинный пастушеский бич.

Обветшала и обречена на снос библиотека, обрушились школьные здания, не идет утром и вечером по улице такое огромное стадо, сгорели и исчезли многие дома, знакомые с детства. Но память моя, как вообще наша память, сильнее пожаров и тления. Нет дома на углу Троицкой и Школьной, а я помню, как он горел, как мы его тушили. Но если исчезали дома, не умирала Кильмезь, целые улицы и переулки появлялись, например, на месте аэродрома и кирпичного завода и на полях колхоза «Коммунар» в сторону Троицкого. Так что я много счастливее тех, кто приезжает к местам детства, на которых пустыри и следы пожарищ.

За ночь затянуло дымом небо, но это даже принесло облегчение, ибо солнечные палящие лучи теряли в дымных облаках свою жгучесть. Я пришел на кладбище, где ждали меня милые мои дедушка и бабушка. Могилки их заросли хвощом, уже пожелтевшим, золотистым, и еще изумрудной красоты добавляли иголки, осыпавшиеся с широких елей. Вот где отрадно думалось о краткости жизни. Не дивно ли: мгновение назад стоял над свежевырытыми могилами, а вот, уже старик, и сам думаю о своей.

Признаюсь, были в жизни моменты, когда я завидовал умершим, и отлично понимаю отца, сказавшего перед кончиной: «Слава Богу, умираю, не увижу, до какого срама Россия дойдет. А уж до какого

дошла». Теперь, отец, она еще до большего дошла. Но жива. И жить будет. Эта уверенность крепнет во мне. Еще бы: я так много жил, помню Отечественную войну, прожил фактически несколько эпох, смену правительств, идеологий, денежных систем, для любой страны такие встряски были бы губительны, Россия выжила. А ведь все в мире против России. Ее не смогли победить в войну, когда не только Германия, вся Европа убивала нас. Как убивает и сейчас. Тогда убивали тело, сейчас — душу. Сейчас тоже идет Отечественная война, война света с тьмой. Все мракобесие мира накинулось на Россию, навязывает ей дикие нормы поведения, развращает молодежь, учит цинизму, восстанавливает детей против родителей, опошляет чистоту отношений, издевается над всем святым...

Я пошел к реке детства. Заставлял себя думать о хорошем. Здесь была кузница, там, направо, в логе, чистейшие холодные родники, тут, у моста, лесопилка, дальше по берегу — опять родники. И мы пили из каждого. Это же на всю жизнь. Сколько красной и черной смородины, ежевики. А за рекой нескончаемые поляны клубники. А в сосновых лесах рыжики, земляника! Мера радостей жизни была мне отпущена преизлиянная. Но не только же Божии дары природы мы вспоминаем из безоблачной поры детства. Ведь главным в родине была та любовь, в которой мы вырастали. И тот труд, который выращивал нас. Мы рвались к работе, мы с детства старались ухватиться за взрослые инструменты. И позднее, когда приезжали в отпуск из армии и на студенческие каникулы, конечно, прежде всего, мы старались чем-то помочь. Труд был радостью.

В одном месте решил спрямить дорогу, я помнил, что была тропинка меж огородов. Во дворе играли дети, крутилась лохматая собака и сидела старуха, их наблюдавшая. Я поздоровался.

— Могу я тут пройти напрямую?

— Можно, можно, как не можно.

— А ваша собачка не тронет?

— Да что ты, что ты, она у нас такая ласкуша.

Я и пошел напрямую. И тут собака кинулась на меня, да так яростно и злобно захрипела, и залаяла, и прыгала, что я стал отступать и нагибался, притворяясь, что хватаю с земли камень или палку. Дети подбежали к собаке, стали ее оттаскивать, старуха стала раскачиваться на табурете, чтобы встать. Наконец, собака умолкла.

— Хороша ласкуша, — сказал я, — чуть не сожрала.

— Нет-нет, она очень добрая, — заступилась за собаку старуха,— да ведь у ей сейчас ребенки. А так-то наш не наш, все идут.

Пошел я дальше, убедясь в том, что не все еще собаки меня знают.

Жара после обеда превратилась в духоту. Я много ездил по странам Африки и Ближнего Востока, а там такие градусы — норма, поэтому российскую жару, тем более на родине, переносил легко. Шел и вспоминал святителя Иоанна Златоуста, поставившего в прямую зависимость погоду и нравственное состояние людей. Текла израильская земля «молоком и медом», стала безжизненной иудейской пустыней. «Преложил Господь землю плодоносную в сланость от злобы живущих на ней», — как говорит Писание. Так может случиться и с нами, если... Если что? Если не прекратится этот накат цинизма, похабного юмора, вся эта бесовщина ненависти к России — самой целомудренной стране мира. Отчего погибли Содом и Гоморра, Карфаген, Помпеи? От разврата жителей. Далеко ли нам до них?

На аллее, близ памятника солдату, сидели печальные люди, пившие лимонад. Увидев меня, повеселели и сообщили, что обманывают милицию, которая не дает распивать пиво в общественных местах, и они переливают пиво в замаскированную под лимонад емкость. Почему-то эти граждане полагали, что деньги в моих карманах также и их достояние. Но строго воспитанный отцом Александром, я сказал, что еды им куплю, а об остальном не мечтайте. Хотя магазин, куда со мной пошел небритый человек средних лет, как раз назывался «Мечта». Человек сказал, что у него есть стихи о России. Я попросил прочитать. Он стеснялся. Тогда я выдрал листок из блокнота и попросил переписать хотя бы одно стихотворение. «А я пока куплю чего поесть, гонорар такой тебе». Вскоре мы обменялись. Я ему — еду, он — стихи. Дома их прочел.

«Эх, Россия-матушка, чего ты только видела. И, наверно, моря три горьких слез ты вылила. Эх, Россия-матушка, где же царь твой батюшка? Что стоишь-качаешься, пьяная, не каешься? Эх, Россия-матушка, похмельная головушка, протрезвись, взгляни кругом, чья же это кровушка? Не царя ли твоего, не за твою ли братию, кровь же к Богу вопиет, ты нажила проклятие. И пришла, Россия, ты к последнему порогу. С покаяньем припади на колени к Богу. В чем соборно ты клялась, в том соборно кайся, и на бой последний ты встань и поднимайся».

Пошел я его похвалить, но он уже, выменяв еду на спиртное, меня не узнал, вновь прося сумму на дополнительную поправку здоровья.

Жена звонила и говорила, что в Москве ужасы жары доходят до каждой квартиры. Не спасают и кондиционеры, так как прохлада из них полна запахов гари. «Да еще этот асфальт». Да уж, асфальт. Думаю, что все наши несчастья от этого асфальта. Родина его — Мертвое море, оно так и называлось, Асфальтовым. Именно оно погребло развратников Содома и Гоморры. В словаре Даля приводится московское название асфальта — «жидовская мостовая». Асфальтом заливали тела покойников и приспособились заливать землю. А земля никогда не умирает, и под асфальтом жива. Все мы видели, как весной появляются трещины на асфальте, это растения пробивают крышку своего надгробия. И трещины заливают, и новым асфальтом закатывают, и вроде побеждают растительную жизнь, но все равно есть ощущение внутренней, загнанной в темницу жизни. Асфальт, его испарения, вызывают раковые заболевания. А в жару мы в городе только ими и дышим. А если бы снять корку асфальта с земли, как бы она вздохнула, как благодарила бы нас чистым воздухом и прохладой.

Но разве не так и Россия? С ее единственностью, неповторимостью, она убивается, закатывается асфальтом чужебесия, иноземных нравов. Зачем нам их навязывают? Какая же это мировая цивилизация, которая одобряет гомосексуализм? Это-то и есть содомия, названная так по имени города Содом, провалившийся в Мертвое море.

За поселком, на проводах, я увидел стаи стрижей. Это редчайшее зрелище — сидящие, а не летающие стрижи. У нас их всегда было много. Небо моего детства покрыто крестиками стрижей. Это не ласточки, хотя они и похожи, и не ласточки-береговушки, которые иссверлили все обрывы по берегам рек, это именно стрижи. Ловкие, легкие, красивые. Они не могут взлететь с земли, у них большой размах крылышек. Однажды в детстве я шел в поле и увидел, что стрижи кричат и летают стаей над одним местом. Я увидел птенца, уже большенького, но беспомощного. Он пищал и крутился на одном месте. Рядом был сарай.

Я сразу решил, что надо птенца поднять на высоту, а там он взлетит. Но как? Поймать-то я его поймал и под рубашку посадил, но стрижам был непонятен мой порыв, и они кричали и пикировали. Да и птенец больно скребся под рубашкой. Я лез по углу сарая, боялся и, подбадривая себя, разговаривал с птенцом: «Хочешь жить, а? Хочешь, конечно. А как же?» Птенец царапался, подтверждая волю к жизни. Стрижи меня атаковали и с размаху тюкали в голову. Долезши до крыши, я ухватился одной рукой за ее край, другой вытащил пищащего и бьющегося в руках птенца и посадил на замшелую поверхность. Потом сорвался на землю, вскочил и отбежал. Стрижи поняли мою им помощь и больше не нападали. А птенец вскоре полетел вместе со стаей.

Конечно, эти, сегодняшние, стрижи были потомками именно того стрижонка. Весело и заслуженно я поздоровался с ними. «Помните своего предка? А тут и мои тоже».

Я все тот же, Родина моя. Тот же босоногий мальчишка, любящий тебя уже только за то, что здесь появился на свет Божий. Так мне было суждено. Это только подумать: ни за что, просто по милости Божией мне была подарена такая родина. Такая река, такие леса и луга, такие люди. И за это счастье никогда не устану благодарить Бога.

Платон и Галактион

Жили-были два моих предка, мои пра-пра-пра- и так далее дедушки. Платон и Галактион. Без них бы и меня не было, и детей бы моих, и детей моих детей тоже бы не было. А при каком царе они жили, а скорее, при царице, до того я не докопался. Да это и не суть важно. Знаю, что дед Платон был православный, а дед Галактион — старовер. Но в семейных преданиях об их разногласиях в вопросах веры не говорится. Вот только говорили, что Галактион иногда задавался, что получше Платона знает Священное Писание, ну как же — старовер, а староверы — большие начетники. У них знанию Писания учиться надо. Но были прапрадедушки мои соседями, жили дружно и от души христосовались в светлый праздник Пасхи. Но вот что касается обстоятельств самой жизни, тут разногласия были существенные.

Они не сходились в том, каким образом надо укреплять жизненную силу. Вопрос для любого человека важный, но для крестьянина наиважнейший. Трудности крестьянской жизни может вынести сильный и обязательно здоровый человек. Болезнь для крестьянина хуже смерти. Мертвого кормить не надо, только поминай, а за больным уход нужен. Деды мои славились здоровьем, носили на плечах не только баранов, но и телят, и жеребят, пахали по десятине, по полторы десятины выкашивали, по два стога в день сметывали. Если читателям это ничего не говорит, скажу, что десятина больше гектара. Да что говорить, вскопайте без отдыха хотя бы три-четыре десятиметровых грядки, притащите домой враз десять арбузов или мешок картошки. А жеребенок потяжелей и того и другого. Однажды, говорит семейное предание, они на себе принесли для мельницы два каменных жернова. А жернова были пудов по двадцать. То есть больше трех центнеров. Центнер — сто килограммов. Да, дожил русский писатель до необходимости пояснять читателям, что такое десятина, верста, пуд, сажень, грош, золотник, семитка, гривенник. Неужели булькнут в черные дыры забвения и хомуты, и черес-

седельники, и подпруги, снопы, серпы... — все, что связано с трудом на пашне-кормилице? Что говорить, не живать уже нам той могучей, спокойной, размеренной русской жизнью, гостившей многие века на русской земле. Но хотя бы свершим благодарный ей поклон.

Попытаемся представить тех былинных богатырей, которыми были наши предки. Да, богатыри, но одновременно и обычные люди. Как мои дедушки. Да, богатыри — не мы.

Конечно, Платон и Галактион, во-первых, дышали не нынешним воздухом, искалеченным не только отходами всяких производств, химией, выхлопами машин, но и забитым радио- и электро- и эсэмэс-волнами. Во-вторых, питание. Не нынешние добавки, да суррогаты, да вода, убитая хлоркой, а продукт был все естественный: вода из родника, молоко от своей коровы, мед, мясо, овощи — все свое. И носили не импортную дрянь-синтетику, а лен. А зимой шубы из овчины, которую сами выделывали.

Так в чем же у моих дедов были разногласия? Именно в вопросе поддержания здоровья. Платон закалял его баней, а Галактион — купанием в проруби. А если наступали такие морозы, что даже и проруби перемерзали, то просто выходил на снег. Снегом и натирался. А когда мороз за сорок и под пятьдесят, то снег как крупный песок. Им Галактион себя так надраивал, таким наждаком, такой теркой, что издали казался факелом на снегу. Так пламенела кожа. Шел домой, отдыхал и выпивал в одиночку полуведерный самовар. Конечно, потом ему гнуть дубовые полозья для саней было в леготку.

Но ведь не менее размалинивался от банного жара и Платон. До того натапливал свою баню-каменку, что войти в нее было страшно: уши горели, хотелось присесть. А когда плескал полным ковшом на камни, вода мгновенно превращалась в пар и так взрывалась, что отдирало примерзшую дверь. Перерывов Платон не делал, парился и поддавал без передышки. И обливался чуть ли не кипятком. Прибредал домой, долго лежал на лавке, потом, как и Галактион, выпивал в одиночку такой же полуведерный самовар. Вместе покупали. И наутро ворочал в кузнице раскаленное железо.

Так вот, они всегда спорили, чья система лучше: ледяная, Галактиона, или жаровая, Платона. Получалось, что обе хороши. Ведь и у того и у другого силы были, как говорится, колесные. У того и у другого, несмотря на то, что им за пятьдесят, рождались детишки. Да и детишки все крепенькие. Уже Галактионовы выбегали в одних порточках с отцом на снег, а Платоновы смело, хотя пока и ненадолго, заскакивали в баню.

Вот они сидят и дебатируют. Если это лето — на завалинке, если зима — за самоваром у того или у другого.

— Я только зимой и живу, — говорит Галактион, — чаю мне не наливай, только кипяточку да варенье. Очень я маюсь в жару, кое да как лето пережидаю. Ну, хожу к роднику, в него залезаю, хоть отдышусь. Сижу в ледяной воде, чую — холод к сердцу идет. Вот идет, вот холодит, во-от оно! Вылезу и дальше живу. А после обеда подремать хожу в погреб.

— Это мне не понять, — отвечает Платон. — Клин клином вышибают, жару жарой. Как ни кипятись солнышко, мою каменку ему не догнать. Так баню раскочегарю, так разогреюсь, что мне потом никакая Африка нипочем. Тебе, брат, в тундре надо жить.

— Оно бы и неплохо. А тебе в пустыне бегать без штанов. Эх, брат, наживешь ты себе с этой баней хворь. Вся тварь в тепле размножается,

а в холоде перемерзает. Заразы в холоде нет. К примеру, как с тараканами покончить? Картошку в подполье закроешь старыми тулупами — и двери настежь. И все! Чисто. Ты ж тоже этим способом пользуешься. А потеплеет — и поползли простуды, змеи и холеры, и всякие мокрицы. А уж я не закисну. Разве я против жара? Но у меня жар рождается от холода. Изнутри. Разница? А ты себя греешь сверху, а что внутри?

— Насквозь пробирает. Как железо в горне.

— Платон, тебе же не засов из себя ковать. — Галактион вставал и задавал свой всегдашний вопрос: — Како чтеши Писание? «Оснежатся вершины в Селмоне»! А о Спасителе? «Были ризы Его блещахуся, яко снег». Яко снег! А Исайя? «Будут грехи ваши багряны, как снег убелю». Вот! В жарких странах жил, а снег знал. Духом провидел. Вот где разумение! А псалмопевец Давид? Вникни! «Господь дает снег, яко волну».

Платону и возразить нечего. Нет в Писании защиты его бани. Ни до чего не доспорятся, разойдутся. Зимой Галактионовы дети, и уже и внуки, лед на речке колют, запасают, а летом Платоновы наследники веники ломают. Отцы их и деды могучей своей работой людей изумляют. А по субботам взрывы пара, удары веников и довольные крики несутся из бани Платона, а по утрам, и в снег, и в мороз, и в метель идет босой Галактион на завьюженный огород и погружается в снежные перины. А за ним сыплются полуголые наследнички. Он их тешил тем, что брал подмышки и бросал. Кого вдаль, кого вверх. Тот, кто летел по горизонтали, хвалился расстоянием, на которое был заброшен, а тот, кого Галактион подкидывал, хвалился продолжительностью времени в полете. Такие потехи были безопасны, ибо приземлялись они на снежную перину. Снега в вятских пределах были щедрыми, избы заносило по верхние наличники, как говорили, «по самые брови».

— И кто же в сей истории оказался прав? А никто. А как? А так. Платон был в городе и купил там книгу. После ужина семейство уселось слушать чтение. Платон, перекрестясь, прочел название: «Описание трудов и подвигов святого Первозванного Всехвального апостола Андрея». Очень трогательно было описано, почему святой апостол назван Первозванным, и как он шел с именем Христа в северные, то есть в наши, земли. Прошел Херсонес, в коем впоследствии окрестился великий князь Киевский Владимир. Водрузил апостол на кручах Днепровских Крест. Был и в Новгороде. При этом известии дед Платон от себя сообщил, что предки наши пришли в Вятку именно из новгородских пределов.

— Так что от кого мы получили крещение? А? От ученика самого Христа, Господа Бога нашего!

Добрался дед Платон до описания апостолом славянских обычаев. И до того места, как тот был изумлен банями. Тут дед Платон вскочил и побежал к соседу.

Галактион пригласил гостя к столу, но тот, вздымая книгу, объявил, что прочтет, что говорил апостол Андрей, брат первоверховного апостола Петра, о славянах.

— Ну-ко, ну-ко, возгласи.

Платон, разогнув книгу и найдя нужное место, возвысил голос:

«...и зело раскалив бани, они бьют себя прутьями до умертвия и лежат безгласно». А? Галактион! Слушай апостола, слушай!

Галактион убедился в точности прочитанного, но прочел и дальше:

«Потом же обольют себя ледяною водою и тако оживут». Тако оживут! — возгласил он. — Платоша! Тако оживут! От ледяной воды! Тако!

— Но вначале же баня! Како чтеши? Как же ты без бани? Как же не слушать предков наших и апостола? Галактион! В баню!

— Платон — в снег! — воскликнул Галактион.

Они ударили по рукам в том, что повторят виденное апостолом жаровое и ледяное омовение славян, и вот — в ближайшую субботу свершилось великое событие: Галактион вошел в баню. От температуры и пара хотел выскочить обратно. Но было же рукобитье, он превозмог себя и выдержал. Платон его крепко отхлестал. Но пришла пора страхования и для Платона. Галактион повел его в снега огорода и повалил в сугроб. Закидал снежочком. Платон героически вытерпел насильственное охлаждение, потом вскочил и велел Галактиону вернуться в баню. Сам бежал туда вприпрыжку. И так поддал на радостях, что Галактион запросил пощады. Залег на пол, решив отлежаться, но Платон требовал, чтобы тот лез на полок. И опять брался за веник, в коем березовые ветви были перемежаемы пихтовыми. Хлестал неистово. Галактион просил пощады, но Платон кричал:

— Я не до умертвия. Мы выполняем благословение апостола. Терпи!

Затем же, когда настала очередь снежной купели, Галактион опять отыгрался. С наслаждением катал соседа по снегу, будто снежную бабу лепил. Тот начинал привыкать к перепадам температуры, а они были градусов в сто, не меньше, но все-таки вырвался и вновь кинулся в свою обожаемую баню. Куда велел снова идти и Галактиону. И таковое действо они свершили еще раз, то есть троекратно. Чувствовали себя после бани превосходно, выпили по два самовара.

А далее? Далее было строительство новой бани. Фундамент — огромные валуны, а на сруб не пожалели лиственницы, никогда не гниющей. Да, строили на века. А печь в бане не клали из кирпичей, а били из глины с примесью песка и опилок. Это такая технология, которую надо долго объяснять, скажу одно: это не печь, а монолит, в ней металл можно плавить. Поставили баню, а уж белый снег Господь даром посылал. И печь в бане, и сама баня дожили до Наполеонова нашествия, до Крымской войны, до революции, перетерпели войну Отечественную и добрались до перестройки. Разве можно было вынести и пережить русским людям такие нападки на матушку Русь без такой бани? Бессчетное количество людей в ней здоровье поправили.

И я в той бане был и в бане той парился. И на снег под звезды выходил, и в сугробы погружался. И снег от моего раскаленного тела до самой земли проседал, и вновь входил я под жаркие своды платоновско-галактионовского чуда. Но как происходило сие, об этом пусть мои пра-пра- и так далее внуки своим пра-пра- рассказывают.

Спасибо великое святому апостолу Андрею, Всехвальному, Первозванному. И за баню, и за дедушек, и за внуков, и за Русь Святую.

Ради улыбки

Служил я три года в нашей победоносной Советской армии и никакой дедовщины и видом не видывал. Ну да, были и старики, были и салаги, естественно. Но чтобы старослужащие издевались над новобранцами — никогда! Знаю, что говорю, я дослужился до старшины дивизиона. Вот составляю я наряды, решаю, кого куда послать. И, конечно, не могу же своих одногодков на третьем году службы загонять в

кочегарку или судомойку. На это салаги есть. И это, согласитесь, более чем естественно.

Но одну весьма милую армейскую шутку вспомнил, когда дети спросили: а какие у вас были раньше первоапрельские шутки? Тут я строго ответил, что первое апреля — это начало недели перед Благовещением, это время Великого поста, какие тут шутки? Но вспомнил розыгрыш из армейского времени и с удовольствием рассказал. И коротко запишу.

В дивизион осенью пришло пополнение: хлопцы с Западной Украины. Ребята на службу рьяные, особой возни с ними у сержантов не было. Даже до сих пор некоторые фамилии помню: Доть, Аргута, Коротун, Титюра, Балюра, Мешок, Муха, Тарануха, Поцепуха. Так я их тройками и запоминал, так и в наряды наряжал. Нормальные хлопцы. Одним только от наших, вятских, отличались: сильно любили поощрения.

— Товарищ старшина, вы же ж сами дуже хвальны были за наряд по кухне.

— И шо ж с того? — спрашивал я.

— Тады же ж мабуть благодарность перед строем треба размовить.

— Мабуть иди, — сурово говорил я. — Награды в нашем славном ракетном дивизионе не выпрашивают, их, когда надо, дают. И, когда надо, вы их получите. Ясно? Или це дило тоби треба розжувати? На твоей ридной мове?

И вот мои сержанты-третьегодники (мы служили по три года) задумали на первое апреля нижеследующую шутку.

Они пошли, тайком от меня, в штаб к знакомой машинистке, встали на колени и умолили ее напечатать на чистой странице, даже не на служебном бланке, приказ о досрочном присвоении звания ефрейтора всем нашим первогодкам. «В связи с тем, — значилось в приказе, — что нижепоименованные рядовые показали себя образцовыми в воинской и политической подготовке, в дисциплине, в несении нарядов по внутренней и караульной службе». Сержанты поклялись машинистке, что никто из офицеров этого листка не увидит, что его вернут ей и при ней уничтожат. Парни были огневые, красавцы: Толя Осадчий из Киева, Леха Кропотин и Рудик Фоминых из Вятки, уговорили. И листок, как обещали, потом вернули.

Звание ефрейтор — первичное, одна лычка на погонах. Дальше идут младший сержант — две лычки, просто сержант — три лычки, старший сержант — одна широкая и так далее. Прапорщиков при нас не было.

Обычно после ужина я убегал в библиотеку, оставляя дивизион на дежурного. Если что, меня всегда знали, где искать. Сержанты привели дивизион с ужина и, не распуская строя, объявили, что поступил приказ об очередном присвоении воинских званий, что его торжественное оглашение будет завтра на общем построении, но надо к этому оглашению подготовиться, то есть пришить лычки тем, кому звания присвоены.

С приказом можно ознакомиться в Ленинской комнате на Доске почета.

Почему на Доске почета, а не у тумбочки дневального, это тоже было продумано: не хотели подставлять ни дежурного, ни дневального.

Строй распустили, все кинулись читать приказ. Радостные крики оглашали казарму. Парни мои объясняли, что это такая особая честь нашему дивизиону, а мы и правда только что хорошо провели учебные стрельбы, что, конечно, это редкость редчайшая, чтобы военнослужащие получали звание так быстро, но тут особый случай.

Словом, сели салаги за иголки и нитки. Лычки им отмерил каптенармус Пинчук. Погоны новые выдал он же. Он же и собрал вскоре эти погоны, но уже с пришитыми лычками. Сказал, что раздаст утром, на построении.

Никто не заметил, что к ночи приказ исчез с доски. И я, прибежавший проводить отбой и читать наряд на завтра, о нем и понятия не имел.

Вообще, я потом даже сетовал парням, что меня не ввели в курс розыгрыша, но парни объяснили, что не хотели меня подводить. И не подвели. Утром, после завтрака, перед построением сержанты вызвали меня в Ленкомнату и ввязали во всегда непростое распределение нарядов на будущую неделю по батареям и взводам. Время летело. Я посмотрел на часы и оторвался от бумаг:

— Крикните дежурному: выходи строиться.

Вскоре дежурный заскочил в дверь:

— Старшина — комдив!

Выйдя на крыльцо, я привычно и мгновенно посмотрел на выровненные по белой линии носки начищенных сапог, скользнул взглядом по гимнастеркам, заправленным в ремни, по блестящим бляхам, по головным уборам и скомандовал:

— Див-зион, р-рясь!.. Ир-но! Равнение напра-о!

И четко, по-строевому, пропечатал несколько шагов навстречу нашему подполковнику.

— Тарщ подполковник, вверенный вам дивизион на утренний осмотр и развод построен!

И увидел вдруг взгляд подполковника. Он смотрел с каким-то недоумением, но не на меня, на выстроившихся солдат. Я невольно тоже поглядел и... и чуть устоял: в первом ряду стояли сплошь ефрейтора. Все в новехоньких погонах, все очень радостные. Они были готовы гаркнуть: «Служим Советскому Союзу!»

— Это кто у тебя в строю? — ласково спросил комдив.

— Понятия не имею, — искренне ответил я.

— А сам ефрейтором быть не хочешь? — поинтересовался комдив.

А дальше? Дальше пошла разборка. Таскали к комдиву и сержантов, и «ефрейторов». Все честно говорили, что был приказ. Был. «Вот утуточки, урамочке». И все это подтверждали.

Но уже во всей части шел такой хохот, так всем понравился наш розыгрыш, что, конечно, было глупо истолковать его как преступление или тому подобное. Дежурному сержанту влепили внеочередное дежурство, только и всего. Это ж в тепле, в казарме — это не караул, не круглосуточное бдение на позиции. Я сказал комдиву, что буду рад ефрейторскому званию и тому, если с меня снимут хомут старшины. Тем более, у меня шел последний год службы, я начинал готовиться к приемным экзаменам в институте.

Мы думали, что и «ефрейтора» не будут обижаться. Но вот как раз они-то и обиделись. И то сказать: только что приятно ощущали на погонах лычки — и нет их, сами же и спарывали. Даже сфотографироваться не успели.

— Кляты москали, — возмущались они.

Но мы не обижались. Я вообще искренне думал, что меня это прозвище возвышает. То все вятский был, а тут уже и москаль. Не так себе. Такое было армейское первое апреля.

Не о том думаю

В старости я дожил до унизительного состояния постоянных мыслей о том, где взять денег. Журналы, газеты, меня печатающие, гонораров не платят, сами нищие. Может, тысячу в среднем в месяц «Русский дом», и все. Радио, телевидение — от них ни копейки. Какие-то грошики подкинула пара сайтов, и все. Последние книги не дали почти ничего.

Проснулся, лежу и соображаю: а ведь я в советские времена был как фабрика для своего государства. Такие доходы ему давал. Например: идет книга, тираж пятьдесят, сто, сто пятьдесят, бывало и по двести, и по триста, и по пятьсот тысяч экземпляров тираж. Мне дают за авторский лист рублей триста, может, больше, тут сложная механика расчетов, но платили же. Но мой гонорар был ничтожен по сравнению с деньгами, которые получали государственное издательство и государственная книжная торговля. А «Роман-газета»? Там вообще тиражи зашкаливали. Допустим, стоит выпуск для читателей рубль, а их откатали три миллиона. Автору сунут пять тысяч — и гуляй. Но пять тысяч — это очень неплохо, ибо картошки килограмм стоил десять копеек, а семью на юг повезти, даже и с тещей, можно было и за тысячу.

Так вот, теперь это же, пусть видоизмененное в области правления, государство оказалось очень неблагодарным. Я его озолотил, а оно меня обездолило. Пенсия ничтожна, хотя стаж, даже официальный, при выходе на нее у меня был сорок пять лет, и так мизерна, что стараюсь в сберкассу не идти хотя бы месяца два-три, чтоб чего-то подкопилось. А на что живу? Сам не понимаю. Пригласили куда-то, читал лекции, чего-то заплатили, так примерно. На шее у жены сижу. Тоже унизительно. Идешь к внукам: «Дедушка, а ты что нам принес?» И в самом деле хочется их всегда чем-то порадовать.

О-хо-хо. Задремываю. И в тонком сне представляется вдруг, как меня объедают могильные черви. Начиная со ступней и проделывая в них бороздки. Освобождают мой скелет от мягких тканей. Даже, кажется, переговариваются и советуют друг другу, где вкуснее объедать. И ловко же движется у них дело.

Просыпаюсь, вначале в ужасе крещусь, а потом думаю: «Слава Богу, вот ведь как благотворно меня Господь поправил, вот ведь о чем надо думать, а ты о деньгах да обидах на государство, оно столько раз уже умирало и отмирало, а Россия жива, жива твоя душа. Слава Богу!»

А о книгах тоже договорю. Бывал в книжных хранилищах, видывал книги, в которых многоходовые катакомбы сделали очень живучие книжные черви. Небось, они, черви, и книжные и человеческие, встречаются на своих симпозиумах и обмениваются опытом поедания. И авторов, и их произведений.

Петушиные крики

Все люди, все до единого, те, кто вышел из сельской местности, а теперь живущие в городах, вспоминают детство. Оно им снится, о нем они любят говорить. Рыбалка, река, сенокос, лыжи зимой, санки. Сияние полной луны над серебряным снежным покровом. Запах дыма от русских печей... Что говорить!

Один большой начальник особенно тосковал по петушиному пению. Дети его просили купить им попугая. Он купил. Попугай оказался очень способным к обучению. Когда начальник поехал в отпуск навестить старуху мать, то взял с собой клетку с попугаем. В деревне он поместил попугая в курятник, и попугай в два дня выучился кукарекать.

И теперь он живет в Москве и кукарекает. Вначале мешал спать, ибо, по примеру сельских своих учителей, кричал на заре, и его клетку стали накрывать. Тогда он приспособился кричать днем и вечером. Так и живет. Кому-то напоминает деревню, а кому-то евангельского петуха, который дважды успел прокричать в то время, в которое апостол Петр трижды отрекся от Христа.

Конечно, наш попугай, играющий роль петуха, будет кукарекать долго и обязательно переживет своих учителей, ибо им до старости дожить не суждено.

Гречиха

Вот одно из лучших воспоминаний о жизни.

Я стою в кузове бортовой машины, уклоняюсь от мокрых еловых веток. Машина воет, истертые покрышки, как босые ноги, скользят по глине.

И вдруг машина вырывается на огромное, золотое с белым, поле гречихи. И запах, который никогда не вызвать памятью обоняния, теплый запах меда, даже горячий от резкости удара в лицо, охватывает меня.

Огромное поле белой ткани, и поперек продернута коричневая нитка дороги, пропадающая в следующем темном лесу.

Река Лобань

До чего же красива река Лобань! Просто как девочка-подросток играет и поет на перекатах. А то шлепает босиком по зелени травы, по желтизне песка, то по серебру лопухов мать-и-мачехи, а то прячется среди темных елей. Или притворится испуганной и жмется к высокому обрыву. Но вот перестает играть и заботливо поит корни могучего соснового бора.

Давно сел и сижу на берегу, на бревнышке. Тихо сижу, греюсь предвечерним теплом. Наверное, и птицы, и рыбы думают обо мне, что это какая-то коряга, а коряги они не боятся. Старые деревья, упавшие в реку, мешают ей течь плавно, зато в их ветвях такое музыкальное журчание, такой тихий плавный звон, что прямо чуть не засыпаю. Слышу: к звону воды добавляется звоночек, звяканье колокольчика. А это, оказывается, подошла сзади корова и щиплет траву.

Корова входит в воду и долго пьет. Потом поднимает голову, и стоит неподвижно, и смотрит на тот берег. Колокольчик ее умолкает. Конечно, он надоел ей за день, ей лучше послушать говор реки.

Из леса с того берега выходит к воде лосиха. Я замираю от счастья. Лосиха смотрит по сторонам, смотрит на наш берег, оглядывается. И к ней выбегает лосенок. Я перестаю дышать. Лосенок лезет к маминому молочку, но лосиха отталкивает его. Лосенок забегает с другого бока. Лосиха бедром и мордой подталкивает его к воде. Она после маминого

молочка не очень ему нравится, он фыркает. Все-таки он немного пьет и замечает корову. А корову, видно, кусает слепень, она встряхивает головой, колокольчик на шее брякает, лосенок пугается. А лосиха спокойно вытаскивает завязшие в иле ноги и уходит в кусты.

Начинается закат. Такая облитая светом чистая зелень, такое режущее глаза сверкание воды, такой тихий, холодеющий ветерок.

Ну и где же такая река Лобань? А вот возьму и не скажу. Она не выдумана, она есть. Я в ней купался. Я жил на ее берегах.

Ладно, для тех, кто не сделает ей ничего плохого, скажу. Только путь к Лобани очень длинный, и надо много сапогов сносить, пока дойдешь. Хотя можно и босиком.

Надо идти вверх и вверх по Волге — матери русских рек, потом будут ее дочки: сильная суровая Кама и ласковая Вятка, а в Вятку впадает похожая на Иордан река Кильмезь, а уже в Кильмезь — Лобань.

Вы поднимаетесь по ней, идете по золотым пескам, по серебристым лопухам мать-и-мачехи, через сосновые боры, через хвойные леса, вы слышите ветер в листьях берез и осин и вот выходите к тому бревнышку, на котором я сидел, и садитесь на него. Вот и все. Идти больше никуда не надо и незачем. Надо сидеть и ждать. И с той, близкой, стороны выйдет к воде лосиха с лосятами. А на этом берегу будет пастись корова с колокольчиком на шее.

И редкие птицы будут лететь по середине Лобани и будут забывать о своих делах, засмотревшись в ее зеркало. Ревнивые рыбы будут тревожить водную гладь, подпрыгивать, завидовать птицам и шлепаться обратно в чистую воду.

Все боли, все обиды и скорби, все мысли о плохом исчезнут навсегда в такие минуты. Только воздух и небо, только облака и солнышко, только вода в берегах, только Родина во все стороны света, только счастье, что она такая красивая, спокойная, добрая.

И вот такая течет по ней река Лобань.



НИКОЛАЙ ПЕРЕЯСЛОВ

Испить воды из Божьего следа...

Божий след

Николе Радеву

«Господь ходил когда-то по земле, —
так говорил с тоской Никола Радев. —
Мир не тонул тогда в кромешном зле,
и люди были все друг другу рады...»

Что изменилось с тех далеких пор?
Все так же море пенится в прибое.
Прохладный воздух льется утром с гор,
восходит солнце в небо голубое.

Французы также любят лягушат,
а немцы — пиво, рульку и капусту.
Ну, а в России — водкою грешат
да матерятся («Чтоб вам было пусто!»).

Плывет над миром белых тучек пух,
целует солнце каждый лоб с любовью,
но дух угас, и жар сердец потух,
и пульс утих, чуть движим стылой кровью.

Мы отступили от своих святынь,
как староверы от прадавних кладбищ.
Так в оны дни был предан Божий Сын.
Так в наши дни сдан Радован Караджич.

Грядущий день теряется во мгле.
Что нам осталось? Разве только помнить,
что Бог ходил меж нами по земле,
чтоб наши души верою наполнить.

Чтоб в некий час назначенный, когда
мир погрузится в смертную истому —
испить воды из Божьего следа
и приобщиться к ангельскому сонму...

Давайте у Бога попросим

И снова багровая осень
простерла над миром крыла...
Давайте у Бога попросим,
чтоб жизнь эта вечной была.

В тоске расшибаются оземь
последние листья в саду...
Давайте у Бога попросим,
чтоб Он отодвинул беду.

Надежды, как листья, уносит
по стылой тропе октябрей.
Давайте у Бога попросим,
чтоб мир этот стал чуть добрей.

О счастье мечты в себе носим,
а ходим по горло в крови.
Давайте у Бога попросим,
чтоб дал Он побольше любви!

Коль душу мы не отморозим
в гуденье январской пурги,
давайте у Бога попросим
прощенья за наши грехи.

Когда же все зло с себя сбросим
и тем побежден будет бес,
давайте у Бога попросим,
чтоб Он улыбнулся с небес...

Снегопад 2 марта 2010 года

Сегодня снова выпал снег.
(Хотя все шло к теплу, казалось...)
И, как во сне, мысль о весне
опять на клочья расползалась.

Мечталось: звонкая капель
забарабанит в землю гулко!
Но снова ветер, как кобель,
гоняет снег по переулку.

И снова дворники скоблят
асфальт дворов рукой умелой.
И, как щенки, вокруг скулят
авто, буксуя в каше белой...

Откуда столько у зимы
взялось снегов в ее поклаже?
Как будто оказались мы
на грандиозной распродаже.

Греби сугробы задарма!
Лепи снеговика скорее!
Последней щедростью зима
нас веселит, морозом грея.

Уже недолго ей царить
на светлых мартовских страницах.
Но щедрым снегом одарить
еще успеет всех сторицей.

Мети, метель! Гуляй, пурга,
врываясь в щели подворотен.
В тебе не вижу я врага,
хотя твой бунт — антинароден.

Как лихо бы ни пировал мороз,
вернув себя на царство,
но на заведомый провал
обречено его бунтарство.

И, как фрегат, что сел на мель
и там недвижным остается,
он сядет в лужу — и апрель
над ним в охотку посмеется...

А нам все пофиг, мы плывем
сквозь белый омут снегопада.
Мы в этих прихотях живем,
и нам иных погод не надо!



АЛЕКСАНДР ФУФЛЫГИН

Юлечка уехала

Рассказ

Неприязнь к разного рода художникам была у Сережи в крови — эдакой, если так можно выразиться, обстоятельной антитезой пылкой любви к Юлечке. Он старательно контролировал Юлечкины связи и отношения, не подпуская к ней сомнительных лиц, не позволял им к ней прикасаться и пальцем и делать ей томных, как ему мнилось, предложений позировать. Он всегда был готов к тому, что нет-нет да и выметнется какой-нибудь очередной растрепа из галдежа очередной вечеринки, чтобы предложить ей уединиться в художественной мастерской с исключительно творческими целями. Напор был силен: искусники всех мастей поджидали Юлечку и в толкотне тусовок, и в примерочных обувных бутиков, и в складского вида залах гипермаркетов.

К Юлечке вообще липло слишком много всякого люда. Стоило оставить ее одну, как с ней уже рядом тащилось какое-нибудь мурло, метящее в носильщики: манерно перло пакет с чипсами или с пачкою чая, старалось аристократично нести голову и выпячивало грудь. Художниками они называли себя сами, когда вдруг, откуда ни возьмись, вырастали из земли или выскакивали из-за углов, облаченные в какую-то неестественно торжественную любезность, готовые принять под локоток, готовые поддержать разговор, лебезить и объяснить, что все они художники, художники, художники, черт их подери!

Сереже надоела вся их трепотня про Юлечкину точеную ножку, хотя ее ножка, действительно, была точеной, и он, в принципе, сам считал, что девушка вообще для него начинается с точеной ножки, — а своего положения невидимки он выносить просто не мог. Сережа был тонок и хрупок, узколиц и узкоплеч, и ему еще только предстояло обучаться науке ухаживания. Лица же, суетящиеся вокруг его Юлечки, чуя его эту неискушенность в светских приемах, несмотря на его непосредственное присутствие, все же тащились рядом и отлипали нехотя, лишь спустя некоторое время, вымотав весь запас его нервов. Хотя, мытьем и катаньем, он все же прилагал свою руку к тому, чтобы от них всех избавиться, пусть и выглядело со стороны все это скверно. Юлечку он встречал отовсюду. С Юлечкой он был повсеместно и ежедневно. Юлечке он звонил вечерами на домашний, в принципе допуская предательскую ложь мобильного, прикрывающего ее истинное местонахождение. В их полночных беседах Сережа успокаивался, хотя, в сущности, это была бесконечная, ничего не стоящая болтовня о пустом.

Как вдруг к нему подоспевали прозрения, что к ней никак нельзя было не липнуть: так воздушен и многокрасочен был ее облик и отзывающийся цветами воздух, отталкиваемый ею, но не перестающий кудрявиться вокруг нее, и ее робость, сквозь голубизну которой, как сквозь волнение, проступали отчаянные, захватывающие дух глубины. Его отпускало, ему ненадолго легчало; он

отправлял Юлечку одну туда и сюда; и пробовал порхать в необычных и легких волнах беспечности, прислушиваясь к себе и дивясь своей внутренней тишине; и даже самолично водил Юлечку в фотосалон. Фотограф в пиджаке с засаленным боком и плечами, убеленными перхотью, тяжело вился над нею, как перегруженный нектаром мотылек, и трогал ее лапками, вымазанными в пыльце, и щедро лил меду в свои бессмысленные речи. Расстаравшись, он умудрялся быть одновременно с того и с другого ее бока, отчего чрезмерно потел. Сережа убивал его стулом, метя в самое тонкое место под крыльями. Фотограф умирал медленно, странно шевеля пушистым брюшком, из которого выходили его внутренности, похожие на гель, и цепляясь лапками за воздух. Фотографии были готовы на следующий день (Сережа получал их сам!). Фотограф был сдержан и молчалив. Сережа — корректен и мрачен.

Сережа помнил белый день своего знакомства с Юлечкой. Именно белый, хоть и летний. Но почему белый, он не мог себе объяснить, не мог приделать к сочно-зеленому колышущемуся ярлыку белую нашлепку. Разинутая пастью арка, знаменующая вход в городской парк. Очередной художник, или, скорее, фотограф, целящийся в Юлечку третьим своим, оптическим глазом. Головокружительный плен каруселей. Грохочущий, многоголосый визг «американских горок». Случайное касание локтей, вызывавшее кипение сердец. Завиток на золотом пушке щеки, решивший все. Ночь, искалеченная райской бессонницей. Сережа, я не сплю, звоню тебе, чтобы... Мальчик мой, Сереженька, поговори со мной, потому что я без тебя... Потому что пододеяльник жесток, как фольга. Потому что темноты я боюсь: в ней нет тебя.

Тогда же он начал писать стихи. Краснел, если его заставали врасплох. Повсюду: на неиспользованных салфетках, на исподних сторонах рецептов, на каких-то случайных газетных полях оставлял строфы, как чересчур разросшиеся автографы. Поначалу он относился к своей новой страсти достаточно легко, иногда читая стихи Юлечке: с нарочитой патетикой, стоя, по-пушкински держа рукой рукописный листок на отлете, отставив ногу. Юлечка как-то сразу же прониклась к его стихам любовью, дурачеств его не принимала, требуя от него серьезности и глубины, и обязательно серьезнела и погружалась по плечи в свои мысли, так, что ему приходилось ее оттуда выуживать. В конце концов Сережа посерьезнел сам. Ему вдруг показались чрезвычайно увлекательными головоломный процесс сложения строф и эта жадная ловитва слов в многостраничье словарей. Он чувствовал себя укротителем поэзии, ее распорядителем, полководцем. Его взгляд стал блуждать или стекленеть временами, и часто казалось со стороны, будто взор его проникает сквозь предметы.

— Так-так, — однажды было ему сказано кем-то совершенно незначительным, чепуховым настолько, что лицо его совершенно не удержалось в материале памяти, а осталось лишь это «так-так» и еще несколько фраз.

— Так-так, — однажды было отмечено, — а ведь вам, Сергей, пора отдать ваши стихи в журналы и в газеты.

В новую струю Сережа нырнул легко, с уверенностью, что будет принят немедленно и радушно: им владел розовый юношеский максимализм, согласно указаниям которого он и мотался по редакциям. Жизнь его стала поделенной на продолжительные коридоры, полные

безликих дверей, в которых, как привидения, бродили канцелярские запахи. Мешок, старательно набитый было надеждами, неминуемо тощал, и вся эта коридорная возня потихоньку утихомирилась сама собой. Сережа для себя отметил эту странность: бушующее, порывистое пламя, поддерживающее жар души, теперь стало ровным, спокойным, но чрезвычайно стойким.

Всю тишь и благодать взбаламутил Саженин: ворвался, сцапал первую попавшуюся под руку рукопись, вчитался в нее без разрешения, словно вгрызся, смял, скомкал, думая, видимо, что складывает вчетверо, прикарманил и приказным тоном попросил дать ему время. Стихи немедленно появились в поэтическом альманахе, мало кому известном, но ярком, пестром и неожиданно тучном. Сережа, получив экземпляр, устал листать его, ища своих творений. Неожиданно нашел там свою фотографию, невесть откуда взявшуюся (опять услуга Саженина), и остался очень доволен шрифтом, расположением строф и неожиданным объемом напечатанного. Из вступительного слова главного редактора альманаха (глянцевая лысина, толстый нос, стариковское выражение щек) он с удивлением выудил информацию о том, как он сам, преодолев нещадную атаку конкуренции, оказался одним из победителей объявленного поэтического марафона. Этапов марафона было три, писалось в альманахе, и участники, со всей серьезностью взявшие старт, прошли их все с достоинством, и победа присуждена двум самым что ни на есть подающим надежды. После допроса с пристрастием (впрочем, он выдал бы все и за так) Саженин выболтал тайну: это была его работа, и сейчас их, двух победителей марафона, ждет профессиональная вылазка на сходку молодых поэтов с толстым названием «съезд». Это слово Саженин произносил обязательно низким тоном, словно смакуя. Будучи соблазнен красочными россказнями, Сережа ехать согласился, на что Саженин сообщил, что и согласия, в сущности, никакого не требовалось, потому что он, опять теми же стараниями, давно уже внесен в список участников. Все происходило так головокружительно быстро, что Сережа пожалел вдруг, что согласился, да так пожалел, как разве жалеют только отнятую конечность.

Он за какие-то несколько дней измаялся так, что спал с лица. Когда же Юлечка сообщила ему о том, что сама уезжает на две недели, и когда черновик их расставания был вычерчен в его сознании, он поначалу испугался так, что даже, если так можно выразиться, испугался этого своего испуга. Это была всего лишь невинная двухнедельная семейная поездка, но он вдруг заметался, меряя шагами и махами комнаты и даже, кажется, разговаривая сам с собой. Его испугало странное совпадение, которое он готов был принять за настоящий знак. Затем он дал себе передышку, сев на диван и подумав, что все не так и плохо, и вообще, плохого ничего нет в том, что расставанием они с Юлечкой проверят свои чувства. Он ощутил всю отвратительную избитость, всю исключительную глянцевость этой мыслишки. Впрочем, если она завелась в его голове, то вывести ее оттуда у него уж не было никакой возможности.

Он позвонил Юлечке по телефону, и пока с ней объяснялся, трубка вспотела и нагрелась от его щеки. Юлечка, кажется, признавала всю эту его поездку захватывающим дух мероприятием и заверяла, что он будет полнейшим из дураков, если откажется. «Позвони мне вечером». «В самом деле, — подумалось ему, когда он отбросил мокрую трубку на

диван, — что случится такого? Что в самом-то деле он теряет?» Ну, проведет несколько ночек без ее телефонных шепотов. Несколько деньков без ее поцелуев, лепестковая нежность которых такова, что он никогда не мог точно определить, если закрывал глаза, куда она его целует. Отдастся работе съезда, не зря же, в самом деле, съехались. Напьется водки с Сажениным, хотя с водкой и с Сажениным дружба ему была противопоказана. Проспит упорядоченную скукотищу докладов. Взорвет черные устои ночи первой буквой алфавита, выдохнутой вместе с диким криком. Затем он вернется, сняв самого себя с подножки вагона и поставив на перрон. Кольцо Юлечкиных рук вокруг его шеи. Запах ее волос, щекочущий верхнюю губу.

Однако волнению его не было предела: он метался, меряя шагами и махами пространство, и даже, кажется, зачем-то угрожал расправою безвинному тополю, растущему за окном. Отовсюду из углов и пространств выдвинулись незнакомые надоедливые личности, претендующие на многое. Он с жаром объяснял им то и это. Он опять звонил по всем ее телефонам, но трубка, еще не отошедшая от прежних жарких мук, была пуста, и он холодел нутром. Кто-то тщедушный в нем объяснял кому-то массивному, занявшему все остальное пространство, что Юлечка остается под надзором родителей, а это самый страшный на свете надзор, крепость, обнесенная островерхим частоколом. Но успокоения ему мысль эта не принесла. Сквозь неплотно связанные колья частокола немедленно просовывалась розовая морда и уже совала туда же свое острое плечо. С тылу крепости подкрадывалась персона, вынужденно водящая приятельство с аскезой и мордобитием, оттого имеющая лицо шельмоватое. Кто-то, построив губы в сальную улыбку, мокро целовал Юлечкину руку, протянутую лишь для рукопожатия, глазом уже вовсю примериваясь к шейке.

Он провел после расставания с ней два отвратительнейших дня, полных скуки и ходьбы. Кажется, будто он поставил себе целью ходьбу без цели как средство для препровождения времени, отшагивал целые кварталы, погруженный в себя. Он набирал номер ее мобильного и разговаривал с ней по телефону, обсуждая свои страхи, а она обязательно просила его не изводить себя, пойти, например, погулять. Ее голосу расстояние, разделяющее их, придало странноватый, непривычный оттенок. Она наспех выболтала ему все новости, встретившие ее на новом месте: двоюродный брат вырос, став неприятным мужланом; котенок, которого она в позапрошлом году отпаивала из пипетки молоком, совершенно одичал; бомбошка на бабушкиной прическе стала толще и болтается при ходьбе еще уморительней; папа ночью упал с кровати, забыв, что спит с краю... Сережа пробовал смеяться, но смеха не выходило. Заканчивали разговоры они всегда долго: он тянул резину, пытаясь затянуть Юлечку в бесконечный разговор, но она жарко перебивала его, говорила, что завалена делами, что ее зовет мама, что сердится папа, что она вообще не может долго разговаривать по телефону, не видя его лица, прощалась, быстро и часто целовала трубку и отключалась.

Он чувствовал, что над ним довлеет какая-то странная сила, какая-то нелепость, от которой не отвязаться без посторонней помощи. Так, подумалось ему, наверное, и сходят с ума: бродя из угла в угол, добредают, в конце концов, до помутнения в голове. Он поднялся вдруг над своей жизнью без Юлечки, чтобы сверху взглянуть на все это и без того кажущееся

опустевшим; и жизнь его показалась ему нищей и бесхозной. В нее, как в кладовку, оказалось накидано много всякой всячины, давно запыленной и присвоенной пауком. И сквозь всю эту бесхозяйственность ему надлежало проложить тропку или даже очистить от нее середину своей жизни.

Как умудрилась Юлечка врасти в него так, чтобы все, лишенное ее касания и непригодное быть полезным ей, так скоро заплесневело? Сережа стал быстро перебирать в памяти моменты, бродя по комнате и словно расставляя метки. На пыльном экране телевизора Юлечкиным пальцем выведен крест. Кресло останется в живых: Юлечка любила сидеть в нем комочком, прыгнув в него, как в уютную норку впрыгивает уютная ласка. Столовым приборам повезло больше всех — некоторых из них касались ее губы, — и они оставлены все из-за невозможности идентификации счастливчиков. Так можно сойти с ума, решил он, сбрендить, разглядывая мебель и вилки.

Мысль его, освобожденная и острая, немедленно ринулась наружу. Нужно позвонить Саженину. Тот был большой скотиной, но хорошим поэтом, как журналист сотрудничал с кучей всяких газет, готовя сумасшедшие репортажи о разных разностях: о мамашах, душащих новорожденных, о пенсионерах, общающихся — от безысходности — с пауками и тараканами. Несмотря на то, что Саженин тоже должен был ехать на съезд, позвонить ему было необходимо еще и потому, что он обладал способностями сводить все проблемы на пфук, разговоры на баб, но зато пустяки раздуть, как воздушные шары, и впоследствии хлопнуть ими, чтобы было много треска и шума. Он вообще любил много шума и треска, воспоминания о нем скакали в Сережиной голове разномастными, хвостатыми жеребцами. Саженина нельзя было подпускать слишком близко: он имел дурную привычку пускать корни, оставлять одежду в самых что ни на есть укромных местах хозяйских шифоньеров. Он был невыносим своей привычкой из раза в раз, копируя свои же интонации и выраженья лица, как шарманка, повествовать эпизод из первого класса средней школы. В истории этой его с диким жаром целовали одноклассницы (точнее, второклассницы!), целовали в обе его щеки и, доведя поцелуями себя до такой степени страстности, в эти самые щеки его искусывали, искусывали его школьную форму, и учебники, и тетради, — а зачем, не смогли потом сами объяснить ни жертве, ни родителям, ни завучу школы. Он всегда был в пути: с гитарой, всегда с ней, всегда с чужой и всегда с разными, а когда останавливался или — не дай бог! — присаживался на ваш диван или на вашей лестнице, бросался бренчать какие-то самодельные композиции. Немедленно тут же возле него обязательно оказывался кто-то, одобрительно кивающий в такт и, оказывается, хорошо знавший эту песню, — и так же неожиданно растворялся в воздухе. Какая-нибудь человекообразная сомнамбула вдруг входила в вашу комнату, принимала скорбную позу на вашей кровати, пила невесть откуда оказавшееся в ее руках ваше пиво, все аккуратно допивала, дослушивала и таинственно растворялась в воздухе, предварительно испортив его дешевым сигаретным дымом. Из подъезда, возле которого вы с Сажениным оказались совершенно случайно, выходила рыжая образина, мужеподобная и в мужских одеждах, но с великолепно стоящей грудью, вооруженная пузырьком с коньяком, просила сыграть ее любимую, выпивала коньяк сама, хрипло звала

вас Серым, а Саженина Сажей, под конец клянясь, будто ближе Сажи и Серого у нее нет никого на свете.

С Сажениным было легко: хватало одного телефонного звонка, чтобы он вырастал перед вами Сивкой-Буркой. В такие минуты непритязательная его физиономия, в которой, казалось, вовсе не было всего того, что есть в лице живом, могла показаться чем-то особенно дорогим и нужным, а его поза вразвалку посередь любимого Юлечкиного кресла — органично вписывающейся в угрюмую обстановку комнаты. Вам вдруг даже начинало казаться, что вы зря ему звонили: он и так к тому времени стоял возле вашей двери, готовый в нее войти без приглашения.

— Что это с тобой? — спросил Саженин, барабаня пальцами по коленке. — Заперся тут один и глядишь волком. Собирай-ка чемодан: ночь на дворе!

Он потянулся за гитарой, кажется, пытавшейся устало отпрянуть от его пятерни, и, кряхтя, продолжил:

— Столько вокруг дел, столько еще не выпитого, просто черт знает что. Подтолкни-ка ко мне эту упрямую дуру.

— Не нужно здесь никакого бренчания, — попросил Сережа, рассеянно глядя вокруг себя в поисках нужных вещей.

— Сюда-а, — протянул Саженин повелительно, продолжая кряхтеть и тянуться рукой. Гитара, потеряв равновесие, свалилась, желая отпрыгнуть от него подальше, и из нутра ее пошел долгий, болезненный гул.

Сережа вдруг обреченно прочувствовал всю остроту и неожиданность своего положения, всю безвыходность обстановки и звенящую скорбь паузы. Паузу подхватили стены, нахмурился и стал ниже потолок так, что, кажется, уже и сама люстра была где-то чуть ли не возле уха.

— Бренчание, — влез в паузу Саженин, — это, брат, такая штука, состоящая из аккордов. Это ловкие крабы рук и беготня их по поверхности грифа. Не помню, кто сказал, может быть, и я.

Он был беззаботен, нес околесицу лениво, словно отрабатывал долг. Сережа на минуту пожалел, что вызвал его. Кажется, все текло само по себе, все ленилось и сокрушаться и существовать, все приняло ту же удобную позу, в какой находился Саженин.

Крякнув, тот комически полез из кресла, рискуя выпасть из него, как из гнезда, достал-таки гитару, ногами оставаясь в кресле, снова уселся, пристроил инструмент на коленях, взял сложный аккорд и вдруг с бряканьем, даже провожая взглядом движение инструмента, отложил гитару в сторону: зазвонил его телефон. Он принялся прохаживаться по комнате, перешагивая через наличествующие лишь в его сознании загвоздки и при этом высоко поднимая колени. Со стороны казалось, будто он разговаривает с самим телефоном: так оживленна была его мимика. Он даже, кажется, пару раз отнимал трубку от уха, подносил к лицу и с укоризной глядел на нее.

Наболтавшись, он вновь влез в кресло; вид при этом у него был заговорщический и на лбу прибавилось морщин.

— Я переночую у тебя, — сказал он. В вопросе его уже содержалось утверждение, поэтому Сережа промолчал. — Я и сумку с собой взял, а?

На столе появилась бутылка водки и четверть буханки белого хлеба. Бутылка была новенькая и радостно блестела, точно радовалась хорошей компании. Хлеб был в целлофановом пакете, и этот плен был для него пыткой: стенки изнутри покрылись испариной.

— Я водку пить не буду, — торжественно сказал Сережа.

Саженин открутил пробку.

— Дай сардельку, — попросил он.

— Сарделька на завтрак. Есть паштет, но подсохший.

— Дай паштета, — копируя свой прежний тон, попросил Саженин, ломая хлеб.

— Нож же есть, — с укоризной произнес Сережа.

— С ножом не вкусно, — ответил Саженин, — дай рюмку.

Сережа дал ему паштет и рюмку. Саженин клал паштет кусками на хлеб, размазывал его по хлебу языком, затем засовывал в рот кусок целиком. Выражение лица его становилось в этот момент страшно комическим, точно он комик и, будучи комиком, готовится демонстрировать публике, как он будет сейчас заглатывать арбуз. Водка лилась в рюмку весело и со звуком, который можно было принять за куриное клохтанье. Вид у Саженина был в этот момент такой, будто водку он категорически не переносит; кажется, Сережа еще не видел настолько перекошенных лиц.

Сереже тут представилось: ночь, чернота, ужасающий храп Саженина, подступающее к горлу утро.

— Ладно, — сказал он быстро и махнул рукой, — давай и мне.

— Это дело, — засуетился Саженин, грубо беря бутылку за горло.

Когда водка кончилась, легли спать. Саженин лег на диван, как был, нераздеваясь, не сняв носков и джемпера, лишь скинув одни штаны, и заснул мгновенно, едва коснувшись ухом подушки. Он давал такого храпака, отчего чуть заметно колыхались шторы на окнах. Храп его все время будто поднимался в гору, рвя жилы от напряжения, и в нем слышались то обвалы, то грохоты обрушивающихся вод. Сережа что есть мочи хлопал в ладоши: резкий звук и содрогание воздуха делали чудо, и Саженин глотал захваченный ртом воздух, стихал на время, но в следующую минуту его, как разбуженный вулкан, прорывало, и клокочущая лава его храпа выплескивалась наружу.

Все Сережины страхи осуществились. Одеяло отяжелело, ночь всей своей грузностью навалилась поверх него. Сережа лежал на спине, спиной чувствуя комья матраса, неизвестно откуда там взявшиеся, со страхом понимая, как неумолимо бледнеет потолок. Ему даже стало казаться, что ночь эта была насильно укорочена, что он лежал с закрытыми глазами, но сквозь закрытые глаза все равно видел комнату. Когда же в комнату вполз вихрь и заходил под потолком по какому-то своему, неотчетливому, но все же геометрически выверенному плану, заверещал будильник.

Саженин спал поперек устроенного им на диване бардака. Под ним, на нем — какие-то груды вещей, одеяло, жестоко скрученное и передавленное пополам, и ужасно измятые штаны, а из всего этого вороха торчала нога в протертом на подошве носке. Пальцы на ноге порывисто шевелились.

— Подъем, — сказал Сережа, вызволяя штаны из грузного плена.

Саженин немного постонал, почмокал немного губами, открыл один глаз и захрапел вновь, кажется, не успев даже его толком прикрыть.

— Автобус через полчаса, — напомнил ему Сережа громко, стараясь, чтобы в голосе было больше надсады. Немедленно лицо Саженина обрело осмысленность, в нем разыгралась жизнь, дремавшая досель. Одеяло, тяжелящее и сковывающее, было отброшено на пол, мослы, наверное, все имеющиеся в организме Саженина, хрустнули.

«Сябрына»: Беларусь — Россия

— Ну-с, — закричал Саженин, вскакивая и потирая руки, — поперли отсюда!

— Надень штаны, — попросил Сережа, бросая ему их.

Сережа пил чай, глядя, как Саженин ест холодную сардельку на ходу, натягивая брюки. Он держал ее, как сигару, зубами в углу рта и вывозил жиром все свои щеки. Он, кажется, и не собирался терзать организм бессмысленным умываньем и иным моционом, а был готов к походу уже через какие-нибудь пять минут, накинув куртку.

— Чай я не буду, — сказал Саженин. — И так во рту дерибас.

— Тогда пошли, — сказал Сережа, уже покончив с завтраком, и они вышли из квартиры. Сережа тащил обе сумки, Саженин — гитару.

Вызвали лифт. В лифте Саженин был вызывающе энергичен, даже буен, и давал медленно ползущей вниз кабине такого жару, что она опасно грохотала и раскачивалась.

— Вот я тоже, — говорил Саженин нарочито приглушенным и таинственным тоном, постоянно третируя кулаком Сережин бок, — как только выпадаю из-под контроля, становлюсь охоч до кошечек. Очень хорошо, когда девка крупная. Не толстомясая, конечно, но наваристая девка такая, плечистая даже, задастая обязательно. Колени обязательно должны быть. Есть в этом какая-то дурь, таких не страшно шарахнуть ладонью по брандмауеру, чтобы с оттяжкой и со шлепком на всю вселенную. Они тогда очень чувственно взвизгивают.

Лифт громыхал и гудел, и, кажется, не было конца его долгому вертикальному, кропотливому падению, как и не было конца туповатой болтовне Саженина.

— Я люблю так, — продолжал Саженин. — Чтобы она могла чувствительно двинуть плечом. Ее берешь, а она выворачивает тебе руку и оставляет синяки.

— Это отвратительно, — заметил Сережа.

— Ты ни фига не понимаешь, — ответил Саженин, — зато, когда бастион взят, он ноет под тобой и бушует так, что только береги конечности.

— Так легко почувствовать себя пауком, — выдал Сережа, поежившись: возле подъездной двери бесчинствовал сквозняк.

Вышли из подъезда.

— Допустим, мои пристрастия ясны как белый день, — продолжал Саженин, — но вот ты в любви бездарь. Здесь направо нам. Твоя тяга к отощалым малолеткам когда-то должна пройти. Ты задержался на школьной скамье и все еще мечтаешь заглянуть под юбку какой-нибудь отличнице. Пора любить женщин, готовых для тебя юбку задрать. Где-то здесь арка. А, вон она. Нам в нее — и на трамвайную остановку. Поедем со стукотком.

В трамвае:

— Тут, главное, что?

Сережа пожал плечами.

— Тут, главное, ощутить момент. Моменты бывают, я скажу тебе, охохонюшки. — Билетеру: — Два билета: за меня и вон за того парня. — Сереже: — Хочется порвать к чертям, чтобы пуговицы врозь. Грудь — это немаловажно, скажу я тебе. А какая у твоей десятиклассницы может быть грудь? Никакой не может быть. — Помолчали. — Как все-таки застраивается город. Это просто черт-те что творится. Этой башни еще на той

неделе не было, а сегодня, смотри, торчит. Хотя, скажу тебе так, бывают у десятиклассниц такие груди, что просто...

— Еще в прошлом году здесь торчала эта башня, — заметил Сережа.

— В прошлом году ее точно не было.

На улице:

— Вот и наш автобус. Смотри в оба. Поэтессы обычно задерганы, и здесь нам не светит ничего особенного. Хотя и поэтессы бывают охо-хо!

Саженин был всегда и везде своим: немедленно яростно бросался пожимать руки, обнимать талии, словно нарочно приготовленные для объятий, и пожимал и обнимал их со знанием дела.

Народец толокся возле автобуса разный, и в салоне сидели многие, скромно застолбившие себе выгодные местечки возле окон. Кто-то внутри автобусного салона спал в кошмарно неудобной утренней позе, розовым виском давя в мутноватое окно, сильно откинув голову, отчего у него остро торчал кадык. Сережа влез в автобус, заняв место Саженину: знакомиться с кем-то ему не хотелось. Он понял, что тогда придется вести со всей этой безымянной людской массой вынужденно-непринужденные беседы, испускать будто бы в пространство реплики и шутки. Немедленно он позавидовал спящему, всей той легкости, с какой тот, пристроив висок к дымчатой от близкого его дыхания поверхности окна, забылся ненарушимым, полноценным сном. Курильщики снаружи курили солидно и даже величаво, одинаково глубокомысленно щурясь от дыма и часто кивая, словно в чем-то беспрестанно соглашаясь друг с другом. Сережа пробовал закрыть глаза, устроиться поудобнее, но вдруг заупрямилось кресло, недовольно давя ему в бока. Кто-то коварно, пользуясь его полудремотным состоянием, пробрался за спину, уселся там, в соседних креслах, и стал шебаршиться, размещая свои кажущиеся гигантскими телеса. Когда же Сережина дрема загустела настолько, что он в ней стал погрязать, вся уличная гурьба, дымная и шумная, валом повалила в салон, коленями и животами проталкивая вперед себя толстые сумки. Протиснулся Саженин, с блаженным лицом сел рядом и сразу же принялся общаться, кажется, со всеми сторонами света сразу, жутко вертясь. Все дружно поучаствовали в перекличке. Как-то уж очень сердито шипя, закрылись двери, и автобус тронулся.

Словно провоцируемые струящейся под колесами дорогой, в Сережиной голове потоком потекли мысли о Юлечке. Сережа словно вознесся над автобусным салоном, над всем этим, беспечным и бубнящим. Он улыбался, вдавившись своим виском в холодный висок своего улыбающегося двойника по ту сторону окна, — и улыбался мыслям о бессмысленности и безысходности всего существующего вне этого автобуса. Пусть стройный образ его чувства никак не складывался в его голове, и лица Юлечки было не выловить в этом кипучем потоке, но ему было достаточно эйфории, в которой он теперь купался. Деревья и деревушки, бесконечной и бестолковой чередой плывущие мимо, ровного течения мыслей его никак не расстроили. Он был беспокоен, но волнение его было приятным, словно он ехал на встречу, которую предвкушал. Он огляделся вокруг, чуть привстав в кресле, — и автобус стал вдруг для него прозрачен. Сквозь все вдруг обнажившиеся окна, обрамленные живой бахромой пошлых обывательских кисточек, Сережа увидел распахнутые охваты целого мира. Сам он, как стосковавшееся по родительскому теплу чадо, несся теперь весьма быстроного, чтобы ворваться, чтобы упасть в

распахнутые перед ним объятия со всей возможной детской страстностью. Мир громоздился перед Сережей громадиной, такими необъятными широтами, когда не видишь им краев, и в них, как в чаше, плескался немыслимый простор. Сереже пришло в голову, что он совершенно не представляет, что ему теперь делать со всем этим движущимся на него раздольем, с зеленеющими охватами лиственных зарослей, с кавалькадой телеграфных столбов, почему-то напоминающих пустые виселицы. Ехали долго, и Сережа, вдруг потеряв увертливый хвост мысли, стал смотреть по сторонам, стараясь внимательней вглядываться в лица. Это занятие его вдруг чрезвычайно увлекло, и он совершенно не заметил, как автобус нырнул в старые крашеные, военного типа, ворота.

Съезд разместили в пансионате. Немедленно по головам разнеслась мысль, что поэтические мероприятия, кажется, обречены на такие пансионаты: наверное, громко отметил кто-то, всем кажется, что нас надо, собрав, немедленно полечить. Общее веселье сплотило ряды. Саженин, издалека нацелившись, хищно обрушился на женские баулы и попер их целых три, сопровождаемый хихикающими и розовыми от удовольствия девушками. Регистрация прошла весело: все беспрестанно шутили; кто-то требовал заселять девушек к юношам; девушки краснели от удовольствия и отвечали неопределенно, шутки все же не подхватывая.

Поэтов встречали шведским столом, накрытым на российский манер: порции были уже выложены на отдельные тарелочки, вольности в обращении с едой не позволялось. Полдник был скуден, и в то же время кто-то предложил поберечь силы и места в желудках для банкета, который, как оказалось, был не за горами, но его никто не послушал. Со столов немедленно было сметено все съедобное. Серьезность, какая-то сосредоточенная напряженность тенью легли на лица поэтов, собравшихся могучими кучками: так действовало на литераторов полуголодное их состояние. Прием пищи плавно перетек в общее собрание.

Все было, как показалось Сереже, каким-то странным образом перепутано, какая-то бестолковая рука вразброс внесла в общий распорядок съезда записи, совершенно не задумываясь об их порядке. Бывают такие ощущения, когда, в сущности, на первый твой взгляд все стандартно: горизонт обручем, блюдо небес, подиум под открытым небом, исполненный из дерева, микрофон, как нельзя кстати прилаженный к обстоятельствам, человек в стареньком, но отлично сидящем костюме, говорящий умно о значении съезда и восхищающийся притоком молодых сил в современную поэзию, — но все словно вверх ногами. В каждом слове ведущего чувствовалась ненужная спешка, а в президиуме среди поэтов вертелось слово «банкет», всякий раз исполняемое свистящим, будто стесняющимся шепотом. Кое-кто уже был навеселе и пускал в пространство реплики, не способствующие порядку; в заднем ряду давно заговорщически закусывали два пожилых поэта; казалось даже, будто вся эта торжественно-обязательная часть вовсе не торжественна и совершенно не обязательна. В конце концов, выступающий, скомкав доклад о современной поэзии, освободил место на трибуне. Ведущий съезда прочел жуткие стихи собственного сочинения, посвященные открытию мероприятия: ему устроили помпезную овацию. Сереже в какой-то момент показалось, будто обуявшая было всех жажда банкета пропала, но вскоре он понял, что все, в конце концов, к этому самому банкету по-прежнему движется неумолимо. Кто-то

из зала отмочил съедобную шутку. Кто-то припомнил чеховский рассказ об официанте, ненавидящем ресторанную же публику, прожигающую жизнь в жратве. Банкетное настроение обуяло поэтов: голод делал свое черное дело. Открытие съезда состоялось. Поэты разобрали чемоданы и сумки и отправились в гостиничные номера устраиваться.

Сережу поселили вместе с Саженинъм. Комната в номере была узкой и длинной, возле стен ее стояли две армейского вида кровати и две битых жизнью тумбочки. Шифоньер, держащийся особняком, был обляпан жирными пальцами постояльцев. Саженин ворвался в него, исследуя его середку, тут же вытащил на свет из своей сумки черный щегольской костюм и повесил его в шифоньер, за шею выволок из сумки пеструю змею галстука, пристроил ее, свернувшуюся, на полочке.

— Слыхал? — спросил он. — Вечером банкет. Тыр-тыр-тыр, все вокруг об этом банкете, тыр-тыр-тыр, прямо надоело. Хотя жрать, действительно, хоцца. Жратва здесь, на банкете, скажу я тебе, богатая. В прошлом году давали стейки размером с тарелку, так мой сосед спрашивал меня, с какого краю это нужно есть. Первый раз, дурень, видел жареный свиной стейк.

Сережа лежал поверх одеяла и слушал протяжные жалобы своего желудка. Два Сережины джемпера, джинсы и другое заурядное барахло ожидали своей очереди, надеясь получить в аренду хотя бы одну полочку. У вещей, удобно устроенных в шифоньере Саженинъм, был хозяйский вид, и сам Саженин, ответственно воркуя над ними, выглядел собственником, не желающим уступать отвоеванных приоритетов. Так что Сереже стало немного грустно от потрепанного обличья и печального выражения своих пожитков, от своей вынужденной отрешенности, от невзыскательного вида комнаты, от зябкого ландшафта за окном, от раздражающего нытья крана за стеной, чужого, но чрезвычайно знакомого тембра. Какие-то люди беспрестанно заглядывали в комнату, спрашивая то того, то этого. Сереже показалось, что у них одно выражение лица на всех, хотя Саженин на это яростно возражал.

От скуки принялись рыться в углах и нишах комнаты; нашли старый поэтический сборник, читали лежа, хохоча над фотомордами поэтов, которые почему-то все были черно-белыми и почему-то все подряд уродливые. Наотмечали вволю глагольных рифм. Надивились наличию неизменных березок за чьими-то запечатанными на зиму окнами. Громоподобно и многоного прошлись по коридорам пансионата, отмечая напряженное затишье, лишь изредка разрываемое отчаянным скрипом петель где-то и кем-то открываемого шкафа. Вдруг, как лавина, по лестнице скатывалась неизвестная компания, невесть откуда взявшаяся, и расшибалась о далекую дверь внизу. Подражая ей, ее раскатистому гомону, Сережа с Саженинъм весьма лавинообразно сбежали вниз и вырвались, наконец, на волю. Немедленно вся загородная, сбереженная от смога и смрада красота открылась перед ними, осанистая и пышная. Они шли аккуратными, проложенными среди порослей глазастых петуний дорожками, там и тут изрисованными мелом: тут были и всяческие бесформенные бяки, и неизменные человечки с кочергами вместо ног, и супрематические нагромождения для девчачьих поскакушек. «Как это, — думалось Сереже, — он до сих пор не заметил всей этой шири, всей этой поэтики смешанных лесов, окруживших пансионат, от которых идет такой дух, что хоть глотай его весь».

Банкет был шумным: воздух в столовой громыхал, когда поэты, усаживаясь, воевали со стульями, еще не изучив их провинциальных, неуклюжих повадок. Рассаживались как попало, будучи еще незнакомыми друг с другом. Вели себя сдержанно, старательно придерживаясь этикета: девушки топырили мизинцы, держа остальными пальцами рюмки; мужчины дрессировали ножи и вилки. Мэтры, крепко выпив и немного закусив, рвались к микрофону отпускать спичи. Колонки чудовищно усиливали звук, но вредили ясности. Из всех отпущенных спичей молодежь не разобрала ни одного, хотя хлопала, усердно жуя.

Потом снова пили под грохотание никому пока не нужной музыки. Впрочем, некая, кажется, для чего-то специально приглашенная дама, широкая спиной и с вычурным начесом на голове, пробовала выдать гопака, но не выдала; пробовала выдать вальс, но не выдала вследствие неадекватного поведения партнера; пробовала выдать «барыню» и выдала, торжествуя, в одиночку, под совершенно неподходящую музыку.

Веселье пошло слоями. Наевшись, поэты отлипали от столов лениво, с каким-то беспросветным сожалением глядя на оставшуюся еду, и шли на улицу курить; а там уже в тяжелом дыму плели искусные витийствования и на сытые желудки решали судьбы искусства. Тут же бренчали на гитаре: исполнялись песни исключительно собственных сочинений, в чем немедленно преуспел Саженин. Его было не остановить; он словно поставил себе целью перепеть все песни, сочиненные им. Когда от его рифмованных воплей уставали и шли в банкетный зал, где уже переминались под медленные композиции только что составленные парочки, он пел для себя.

Потом друзья сидели рядом, обняв друг друга за плечи, чувствуя, как какая-то невыносимо дружеская нежность ореолом витает над ними, и признавались друг другу в чистой братской любви. Саженин вдруг стал возбужденным и начал соревноваться громогласностью с музыкой, орущей во всю силу динамиков, убеждая Сережу идти искать себе женщин. Сережа возражал, говоря, что бабы обыкновенно любят всяких там позеров и художников, а он вовсе не какой-то там художник, а поэт.

— Ты очень хороший поэт, — вдруг закричал Саженин, и закричал с какой-то неожиданной угрозой, напрягшись всем телом, отчего мышцы взбугрились под его рубахой, и лицо его сделалось страшным. — Очень хороший! Хо-ро-ший!

— Художников любят, поэтов читают. Меня читают как поэта, мою поэзию — я имею в виду все, написанное когда-либо и не написанное мной тоже — читают, читают, без остановки, — путано объяснил Сережа, не сдрейфив от его криков, и даже немного возгордился этой своей внезапной неустрашимостью.

— Тебя очень многие читают, — опять закричал Саженин и затряс головой так, словно желал сбросить ее с плеч, — очень и очень многие. Я же видел это своими собственными глазами, уж ты можешь мне верить, потому что я твой друг и все вижу собственными глазами. Тебе как поэту просто необходимо найти какую-нибудь бабу, лучше старше тебя, чтобы она дала тебе себя отчебучить, а то на тебе скоро плесень заведется.

Придя к согласию, они встали и неустойчиво, хотя и четвероного, пошли к выходу.

— Между прочим, — ответил Сережа туманно, — я никого себя читать не заставляю. Поэзия вообще дело добровольное.

— Это верно, — согласился Саженин.

— Они сами читают меня, что бы я ни говорил им, как бы ни отбрыкивался, — продолжал Сережа, — читают и читают без удержу, и что же с ними я могу поделать?

— Ничего ты с ними не сможешь сделать, — ответил Саженин, — они сами по себе, а мы с тобой сами по себе.

Пошли на воздух, но где-то в двустворчатой болтанке дверного проема Саженин потерялся. На мраморном крыльце — с десяток изможденных танцами, мокролобых курильщиков мужского пола, держащихся стайкой, белобрысая девушка, служащая осью мужской, вьющейся вокруг нее компании, и вокруг всех них кучевое облако на правах назойливого соглядатая, которое все старались отогнать взмахами ладоней. Поэты производили впечатление на даму: поминутно кто-нибудь, чрезвычайно довольный, распустив пышный хвост и растопырив перья, выдавал очередной анекдотец, и все дико ржали. А за ним уже следующий, выскакивая на середину с особой прытью, будто боясь быть опереженным, кудахтал и бил копытом, и делал уморительные рожи — все, чтобы вызвать колокольчатый женский хохоток. Сереже немедленно стало тоскливо: вида чужого, легко обходящегося без него веселья он не переносил. Некоторое время он с безучастным и даже равнодушным видом стоял возле, в уме старательно доказывая самому себе, что все это липовое, натужное веселье ему лично ни к чему.

Сережа прогулочным шагом прохаживался возле ярко озаренного крыльца, и какая-то дурацкая хандра заворошилась в его горле. Сразу же вспомнилось детство: периметр пионерского лагеря, пикульки из акациевых цветов, тоска по дому и подкатывающие к глазам слезы, которых не удержать, но которые удерживать надо. Он повзрослел, но взрослость его, как шрамами, помечена сильными детскими переживаниями, которые дают о себе знать время от времени. Он вовсе уж свыкся со своей отстраненностью от того бахающего, полнящегося криками пухлого зала, отрезанного дверями и светом уличного фонаря. Он даже решил дать круголя вокруг всего пансионата, как вдруг на крыльцо вышла девушка — та самая, белобрысая хохотунья, — но уже без бурной своей многоголовой свиты. Она была нетрезва, пробовала перешагивать через свои же колени, отчего-то оказавшиеся у нее на пути. Она прыскала от смеха так, что ноги ее, и без того существующие своей особенной, отдельной жизнью, сильно подкашивались.

Сережа вдруг расхрабрился, подбоченился и, сделав вид, что возвращается с философской, натруженной тяжелыми мыслями прогулки, пошел к крыльцу; и пошел как-то широко, нахрапом. Только что он бродил по краю темноты, а ночь стояла за его спиной, растянутая во всю ширь, как полог, а сейчас он выступил из нее, как выступают из-за угла. Девушка, занятая расшатавшимся крыльцом, тут же заметила его и ойкнула неожиданным баском. Ее колени, оставшись без внимания, немедленно неловко подломились, и она просто рухнула на крыльцо, и теперь, сидя на голых ступенях, выглядела совершенно беспомощно.

— Я думала, — оправдывалась она, смеясь истерично-клоунским смехом, — я здесь одна совсем. Ты меня напугал, просто не знаю как, просто ухохотаться. Сейчас икать начну, не знаю, от страха или от смеха.

— Прогулялся немного, — попробовал оправдываться Сережа.

— Видишь, — сказала она, — я совсем, совсем, совсем пьяная.

Сережа стоял, не зная, куда девать руки, и ответил ей, что сегодня здесь все пьяные, и указал пальцем на дверь, из-за которой неслось грохотанье и вопли растанцевавшейся вовсю поэтической компашки.

— Как тебя зовут? — спросила она, а когда он ответил, попросила: — Подайте даме руку, Сергей батькович.

Он увидел, когда она поднялась, что она чуть ниже его, худощава и высоколоба, светлые волосы ее были тонкими и вьющимися и казались неприбранными. В другое время он сказал бы, что в ней не было ничего такого, что бы его могло так легко привлечь. Все ее поведение было немного примитивным, и всякая умильность движений казалась нарочно наигранной, например, когда она легкими, какими-то даже неумелыми щипками поправляла на ляжках отчаянно трещащую, наэлектризованную юбку, приставшую к ногам. Пальцы ее были длинны, но немного грубовато сложены и некрасиво красны.

— Мне просто противопоказан коньяк, — сказала она, ежась как от холода, отчего заострялись ее локти и плечи, — а мне всегда его наливают, пользуясь моей невнимательностью и доверчивостью. Вот только стоит отвернуться.

— Коньяк я тоже не люблю, — поддержал Сережа.

— Ладно, — сказала она неожиданно серьезно, — пошла я спать, а то свалюсь еще за столом, кто меня потащит тогда?

— Я могу дотащить, — серьезно заметил он.

— Будешь ждать, пока я надерусь окончательно? — усмехнулась она. — Нет уж, там и без тебя тогда найдутся провожающие. Лучше уж я пойду сейчас и своим ходом.

— Там темень кругом, — загадочно пригрозил Сережа, — я могу проводить вас до корпуса. Одна можете не дойти.

— Вот как, — игриво усмехнулась она, — а я не боюсь темноты.

— Там, в кустах, кругом оторванные ноги валяются, — пошутил он, — я еще днем заметил.

— А у меня крепкие ноги, — так же шутя, ответила она, — не так-то просто их будет оторвать.

— Да мне все равно по пути, — обреченно сказал он, уже не надеясь на поблажку.

— Ладно, ладно, — сказала она, — пошли. Только не смеши больше, а то меня тошнить начинает.

Она взяла его под руку, обняв ее двумя руками, притиснувшись грудью к плечу его так, как разве прижимаются любовницы и любящие жены, и они пошли по направлению к спальному корпусу, пока невидимому, но предполагаемому. Шли на ощупь, ориентируясь на местности исключительно подошвами. Вокруг них владычествовала звездноглазая чернота, изредка подсовывая им всевозможные препятствия: то вспучивала на их пути круглую скалу акации, которую Сережа легко определял по запаху; то маскировала поворот асфальтовой дорожки еле заметной мутью газона, которую предавал предательский хруст гравия.

— Ты обязательно должен мне прочесть свои стихи, — тут же попросила она. Он ответил, что вовсе не умеет выучивать никакие, а уж, тем более, собственные стихи, и читать их ему вовсе пытка, но, если поднатужиться как следует, мелькнет такое... Вот, кажется, совсем

неловкий сюжет: он, она, тяжелая, зависшая над головами атмосфера расставания, не жалей, поверь в меня, мне хочется быть сильным очень, хочу хоть раз спасти тебя, и что-то в этом самом духе, что-то — парам-парам, от какой-то там — кажется, черной — ночи.

— Дальше, — попросила она.

Дальше, ответил он, все изгладится, лишь только на плечи упадет усталость, как апельсиновую дольку ее проглотишь, эту малость, а сколько их еще осталось? Он понял, что все скомкал, что прочел прескверно, без надсады, а поэтика заданного вопроса отзвучала с какой-то уже заведомо чахлой мыслью. Не нужно было этого, нужно было вот как: душу мне раскрой на одном листке, и — в конверт, и адрес напиши, вот совсем чуть-чуть и в моей руке то, что одному не разрешить... Это чувственней и не так туманно.

— Никакого тумана я вообще не вижу, — ответила она, и Сережа сообразил, что, предательски вырвавшись, мысль его отзвучала вслух. Спальный корпус пансионата громадился перед ними, и от него шел слабый свет: окна были полны электрической желтизны, но странным образом были не ярки и не озаряли даже газона под ними.

— Но то, что ты настоящий художник, признаю прямо и утверждаю это, — сказала она. Признание было приторным: Сережа кивнул, но, поняв, что кивок его был виден лишь темноте, поспешно заговорил, боясь, что обидит ее. Он, конечно же, художник; художник в нем обретается, сколько он помнит себя, с его помощью он с самого детства рифмует каждый шаг своего существования, и, обходя моря и земли, глаголом жжет сердца людей, он пишет песню грустных дум, он ловит сердцем тень былого, и этот шум, душевный шум... снесет он завтра за целковый...

— Какой ты миленький и свеженький, Сережа, — вдруг сказала она задорно и взлохматила ладонью его челку, — просто с ума можно сойти, какой молоденький. У тебя, наверное, и девушки-то еще нет, а?

— Была девушка, — как можно солидней ответил Сережа, не зная, куда деваться от возбуждения, прихлынувшего к его сердцу, спохватился и немедленно отрекся: — Но мы расстались на время.

Вдруг короткий промельк — Юлечка, как дразнящее трепыхание пульса, короткое, одиночное. Убрать же с него пальцы: теперь он бьется где-то сам по себе, и его набухающая упругость больше не ощутима. Теперь это заросшая коростой царапина в памяти даже не чешется, и скоро даже не вспомнить ее местоположение.

— Что же такое случилось? — улыбаясь, немного нарочито играя в озабоченность, спросила она.

— Чувства решили проверить, — ответил он, и она рассмеялась задорно, не обидно, но так, что ему захотелось подхватить ее смех.

— Ты просто чудо, — повторила она, вдруг развернулась, словно боясь оставаться с ним дольше, и, не попрощавшись, вошла в здание. Она словно ожидала, что он пойдет за ней, но Сережа все бестолково стоял, чувствуя кожей ритмические колыхания ночи, и даже принялся их рифмовать, ища нужных слов, но ему показалось сначала, будто что-то его сбивает, какой-то шум, выныривающий из темноты, как вдруг он вспомнил, что просто пьян.

Он возвратился к себе походкой разболтанной, мягкой, даже ватной, поначалу каким-то лунным, странным шагом пробредя по неизвест-

ным коридорам, потом заворотил черт-те куда, в какую-то кладовую. Там он погрохотал чем-то немного, посмеялся над своей неловкостью и над шваброй, не успевшей вовремя смыться, и вдруг внезапно обнаружил перед носом дверь своей комнаты, с удивлением отыскал в кармане ключ, вплыл в пустоту и лег сразу. Он тут же приснился сам себе купающимся в озере; отфыркивающим лезущую в рот воду. Позже явился Саженин: сидел рядом, пробовал петь, обиделся на невнимание и пропал из комнаты, но лишь голос его, забытый здесь хозяином и оттого еще более обозленный, взволнованно бурчал и бубнил из угла. Несколько раз Сережа грубо шикал на него, дивясь какой-то бесчеловечной громкости своего шипенья. Голос плачуще оправдывался, толково все объяснял и умолкал, но вскоре начинал заново свою волынку. Так прошла ночь.

На следующее утро за завтраком Сережа подумал вот что. Так бывает в классической литературе: он ждет ее, но ее все нет. Он бессмысленно и без аппетита завтракает, потом бродит среди людей, ее разыскивая, обязательно катается, например, в лодке, гребет сам, не замечая брызг, выпавших на долю белоснежного полотна его костюма; высаживается на берег, ногой отдавливая лапу злому, привыкшему, что ему все дозволено, мопсу, не замечая катастрофических размеров мопсовых воплей, — но ее все нет. Здесь обязательна душная, щемящая атмосфера курорта, костный хруст озерной гальки под подошвой и академические, статуйные позы на вершине рыжего крутояра.

Вот только все было вразрез классике: она была здесь, его ночная блондинка, здесь, в столовой, он увидел ее сразу же, лишь только вошел. Теперь Сережа не знал, что ему делать: он ожидал, что она улыбнется, даст ему знак, но она кушала тихо, вся задумчивая и мирная, глаз не поднимая, не отрывая взгляда от лакированной, зеркальной глади обеденного стола, в глубинах которой в акробатическом висе вниз головой принимал пищу ее матовый двойник. Пытаясь отвлечься, Сережа принялся рассматривать стены, изобилующие вертоградом, выполненным трепетной рукой оформителя. Виноградины были, как сосцы рафаэлевых мадонн, академически свежи и розовы, но плющевые поползновения лозы были ремесленно декоративны. В голову все же лезла мысль, что скорее всего вся эта масляная мазня удивительно полезна желудку. Впрочем, столовая была полупуста, поэты отсыпались; многим было худо; некоторые же завтракали за двоих, словно издалека готовясь к будущему жертвенному — ради тонкого искусства стихосложения — посту.

Девушка все так же сидела, безропотная, опустошенная, мелко и часто жуя; но вот кто-то, решительно отстранив творог и кофе, подошел к ней. И вот вам поведеньице, развязные движения гарцующих ног! А она распустилась, подняв к нему лицо, уже просветленное счастьем. Со стороны они выглядели чуть ли не любовниками: он все принимал и принимал позы, по-петушиному демонстрируя весь спектр своего оперенья; она изахалась, изохалась, словно он рассказывал ей нечто сногсшибательное, полувоенное какое-нибудь, на грани исторической драмы, а не о том, как он громко, на весь банкет, тосковал вчера после ее ухода. Ей было подано острие его локтя, выглядящее как какое-то неизвестное науке оружие. Какую-то из своих рук она сунула ему под мышку, и они пошли на выход. Сережа с тоской смотрел на выражения их удаляющихся спин: его — торжествующее, ее — сладострастное.

Когда после завтрака началась работа съезда, Сережа понял, в чем именно заключалась вся путаница: банкет был преждевременен, и теперь никто уже не думал о поэзии. Как назло, поэтические мастер-классы были размещены в первом этаже, в гостиничного вида, но с претензией на домашность, фойе и в плюшевых коридорах, настолько сонных, что даже читаемые вслух лучшие строфы в этом воздухе казались ужасно вялыми. Поэты старались расположиться поудобней на диванах и креслах, которых, слава богу, было вдоволь напихано. Кое-кому, в частности, пренебрегшим вчерашним банкетом, отлично выспавшимся поэтессам, достались стулья. Съезд представлял собой теперь театр статики, скопище беспечных, уютных поз, демонстрацию многообразных зевков, обнаруживающих анатомию гортаней. Все же кто-то пробовал работать, декламируя свои стихи, надеясь взъярить ими умы и взбунтовать сердца. Кто-то сумасшедший умудрялся конспектировать реальность, занося ее каракулями в ученическую, удивительно голубую тетрадь в линейку, даже, кажется, подписанную по всем правилам средней школы (такая-то, участница мастер-класса такого-то). Но вид Саженина, продрогшего, хмурого, с силой изображающего беззаботность, нетвердо прогуливающегося за окнами, сбивал чтеца со строки и ритма, а писца — с толку. Кажется, решили все, кто к тому времени проснулся, он ищет вход в столовую.

На обед двинулись шумной толпой: там и тут, стороною и друг за другом, шли сколотившиеся компашки. Сережа высматривал Саженина, успев даже по нему соскучиться, но Саженина нигде не было. Шли меж клумб, дорожками и не разбирая дорожек. Было шумно, и средь всего движущей силой, вращающимся ротором, облепленным, как заряженными частицами, мужской частью съезда, шла она. Даже ветер гулял исключительно вокруг нее, ликующе пузыря ей юбку, на радость надутых, обездоленных поэтесс. Сережа подумал пристроиться к ее компании, но все было бесполезно: внимание девушки было слишком размножено. Тогда Сережу одолела идиотическая, душераздирающая гордыня, потребовавшая у него клятвы, что больше он никогда и ни за что, и вообще, у него есть Юлечка, и ему вовсе ни к чему терзать свою душу, ища внимания малознакомой женщины. Дальнейшее его поведение было достойно всяческих похвал: он был тверд, он был горд, он просто обедал и вовсе не замечал ее, доступную всем ее окружившим, оцепленную экстазами и волненьями. К тому же в столовую явился Саженин, сел напротив Сережи и стал наворачивать за обе щеки так, что на него стали оборачиваться с соседних столиков, советуя взяться за ум и вести себя по-человечески. Впрочем, он очень быстро насытился, затем долго сидел мокролобый, с жирными, сосисочными губами, сохраняя заговорщический вид, глядя, как Сережа пытает вилкой розовую, похожую на палец сосиску.

— Что-то ты вчера пропал куда-то, — сказал он, и тон его был вопросительным. Выражение лица Саженина было сосредоточенным, язык его делал во рту свое дело, разыскивая остатки пищи.

— Спать пошел, — ответил Сережа, напряженно глядя мимо него. А ей, отказавшейся от мутного компота с ядрами урюка и пушистыми посторонними ошметками на дне стакана, какой-то пронырливый удачник пер чай, лицом счастливый, хотя от кипятка и плавились его пальцы.

Саженин проследил его взгляд и сощурился.

— Я тут приглядел себе одну, — сказал он, — из местной обслуги. Я покажу тебе, вон она, в кухне.

Он пальцем показал Сереже: в кухне, меж цинковых поверхностей кастрюль и плит, со знанием дела бродило нечто тучное.

— Нет, — сказал Саженин, — не та, не смотри на самую жирную. Вон та, без халата.

Возле входа в столовую — оживление: сытая, болтливая гурьба двигалась к выходу, густо суетясь и соревнуясь в красноречии. Вышли вон, на улице раскурили неизменное свое курево, немедленно посерьезнев, словно что-то такое добавляют в сигареты, и среди них объявилась опять она: вся объята светловолосым дымком, ментоловую сигарету крутит в пальцах, другой рукой бережно держит свой живот, как это делают беременные.

— Как там мастер-класс? — трещал надоедливый Саженин, которому все было невдомек.

— Все в порядке, — не сразу ответил Сережа. — Почему тебя не было?

— А, — отмахнулся тот, — думаю, никому бы не понравилось, если бы я наблевал там под чьими-нибудь раскидистыми, любовно выращенными виршами. Особенно автору.

Они вышли на улицу, и Сережа вздохнул облегченно. Все было на месте: она, уже измаянная кавалерийским нахрапом своих кавалеров, норовила отвязаться от привязчивых и горластых, таскающихся за ней хвостами. Стоял хороший денек, без облаков и без дождя, хотя и с лужей, невесть откуда взявшейся и жестоко растоптанной (от нее осталось мокрое место) многими ногами. К столовой подкатили три автобуса, с самым мирным видом подвалили к тусовке, видя, что на них не обращают никакого внимания, один из них призывно крякнул, приглашая. Тогда в автобусы полезли все, отшвыривая незатушенные окурки. Сережа пробовал быть равнодушным: влез в автобус наобум, не разглядывая лиц, уселся на первое же свободное место возле прохода, принялся нарочито болтать с Саженином, устраивающимся в соседнем кресле у окна, о всякой дряни, не относящейся, в принципе, ни к чему.

Потом автобусы кавалькадой дружно покатили знакомым леском, затем, вынырнув из леска, мощно пошли по шоссе, показывая чудеса скорости. Пассажиры, переваривая пищу, дружно онемели; кто-то уже вовсю дрыхнул, и кадык его знакомо остро торчал из-за воротника; кто-то, ответственно листая рукописи, наносил на поля карандашные каракули, становящиеся еще каракулистей из-за постоянной тряски, — и мысль, заключенная в них, была чудно кудрявой.

— Я все наблюдаю, что творится за окнами: просто великолепие какое-то. Какая-то безумная монотонная, но чрезвычайно прекрасная поэтика.

Она говорит, видимо, ожидая, что Сережа подхватит на лету.

Он, не упуская момента:

— Красота — это орудие труда для поэта, самое что ни на есть грубое. Это орудие без шестерен, но требующее такой ласки и смазки, каких не требовал еще ни один механизм.

— Орудие — грубое слово.

Только бы не останавливался этот бег, эти раскаты двигателя, раскаты особого тембра, с изюминкой, с душераздирающей баритонинкой,

чтобы можно было вот так, с легкой, немного неудобной болью в ребре, болтать черт-те о чем.

— Как там твоя компания?

— Надоели. Болтовню, которая ни к чему не приводит, ни к чему не обязывает, считают за правило. Опустели всего за сутки так, будто слова, которыми говорят со мной, нарочно за месяц вызубрили, и теперь слова кончились, а новые зубрить некогда. Пока все спят, я сбежала к тебе.

— Только я вот чего не понимаю: ведь кресло было занято.

— Сколько же нам еще ехать? Кажется, нас решили уморить дорогой.

— Я бы ехал и ехал еще, дорога иногда умиротворяет настолько, что с ней свыкаешься напрочь, врастаешь в кресло.

— Я тоже люблю дорогу, но не в автобусе. Автобус тянет, карабкается, рычит, и мне всегда в нем противно, от него меня тошнит, точно он пропотевший, небритый работяга, вызывающий уважение лишь на расстоянии, когда не чувствуешь его носом. Я вообще не переношу всяческих моторов, я словно чувствую скрежет всех их колесиков, валов, поршней, всю эту механику, все трение, все у меня на коже, в голове. Особенно плохо, когда они останавливаются. Когда работают, тут срабатывает эффект скорости, полета, я наблюдаю движение, а когда все утихает, меня начинает мутить и сгибать пополам.

— Что-то мы с тобой размудрствовались. Это со мной часто бывает: вместо простой, человеческой болтовни одна лишь заумь, даже иногда самой становится противно. Думаешь: как меня вообще терпит этот человек?

— Ничего, человек терпит тебя вполне даже. Если это вообще можно считать за терпение. Нет, это другое, что-то уж точно не похожее на терпение, а скорее — на выуживание человека из дурацкого сна. Знаешь, бывает такое: задремал на чуток, а потом целый день ходишь, как вареный, и целый день вспоминаешь, что тебе приснилось, как ты спешишь куда-то, и тебя даже подгоняли чуть ли не плеткой, а идти ты не мог быстрее, чем бегает улитка, и что-то там у тебя при ходьбе чешется, и чешешь, и чешешь, и место никак не найдешь, а чесать надо, и идти надо, и просто черт знает, что за сон.

— Мне кажется, когда я пришла, ты еще спал. Ты смотрел как-то так, словно сквозь меня. Наверное, думал, что я тебе снюсь.

— Такое со мной бывает все время. Сплю, начинаю разговаривать с кем-нибудь, постепенно прихожу в себя и чувствую, как плавно разговор, начавшись еще во сне, из сна составляется и уже ведется наяву и уже о действительности. Но в нем чувствуется какой-то шутовской привкус, с которым ничего не можешь поделать, сам не понимаешь, в чем его комизм, но поспешно начинаешь исправлять его, там посмеешься, там обратишь все в шутку.

Вот тут возникла пауза: наверное, от того, что сменились ритмы, раскашлялся двигатель, умерив пыл; автобус дал крен, свернув с эстакады. Почему так происходит, подумалось; ведь почему-то прошлое, кажущееся еще вчера бетонной глыбой, теперь едва теплится, едва выглядывает скромно из-за угла, тощенькое, тщедушненькое; в нем, в этом прошлом, наличествуют грозы и молнии, какие-то пустопорожние беспокойства, но беспокойства — молчком. Как-то все приходилось мельтешить перед глазами, своими и чужими, куда-то обязательно вбегать, надеясь застать врасплох, чтобы разразиться угрожающим ором, вместо

того, чтобы грамотно вторгнуться по-хозяйски, может быть, в лохматой, мокрой от снега шубище, или в каком-нибудь умилительно-трогательном джемпере. Где-то на дальних, еще как следует не исследованных грядках памяти проклюнулась мысль — у кого-то подслушанная, кем-то нарочно туда высаженная — о том, что именно безусой юности присуща способность с легкостью ставить крест на прошлом, неудавшемся, несбывшемся, но которого, в сущности-то, и не было вовсе. Ему, перечеркнутому, окрестованному, с ровной, знакомой автострады нырнувшему в перелесок, теперь осталась только альбомная, фотографическая статика. Перелесок, казавшийся от невидимого присутствия ветра всклокоченным и развеселым, грудью встречал автобус. Жидкие его березки, конфузливые осинки торжественным строем стояли теперь, замерев на тонких, подламывающихся ножках. Автобус из тени, показавшейся в какой-то момент тотальной, выпер на свет: к бесконечным, словно обкуренным, в сигаретной дымке просторам, к далекой, смешной мозаике домишек, которых, кажется, несли, несли и рассыпали вдоль реки. Все в автобусе, проснувшиеся окончательно, внимательно и хмуро смотрели в окна.

— Интересно, — вопросительно сказал Сережа, — столько было у нас разговоров, а я до сих пор не знаю, как тебя зовут.

Она повернула к нему лицо, оторвав взгляд от дальних, чертовски притягательных пейзажей, и ответила, что ее зовут Юля, но все и всегда зовут ее Юлечка, и ему лучше звать ее Юлечка, потому что ей больше так нравится, чем детское, игрушечное Юля и юляще-якающее — Юлия. Вот так, наверное, втянув когти, дьяволицы признаются в любви священнику, и их бесстыдный тон, и неожиданность их сладострастно пунцовеющих признаний подкашивает ноги. В ее невинном сообщении не было ничего, в сущности, дьяволического, однако Сереже стало не по себе. Такие совпадения суть знак свыше, знак тотальной, божеской слежки, вон, например, из-за ближайшего облака, видимого сквозь автобусные стекла. «Это предостережение, — подумал он, — словно мне предложена и передо мной развернута калька греха, хорошо видимого сверху, еще мною не совершенного, но уже поданного в развернутом виде, отлично просчитанного и даже с угла засаленного». Кажется, уж давно одолено беллетристикой: и обстоятельная формула соблазнения, проштудированная до дыр, и взгляд, традиционно брошенный, но сразу же отнятый, и струйка букли, кудряво протекающая через пульсирующий Юлечкин висок. Но как же противостоять этому профилю, просящемуся в какой-нибудь Гомеров певучий гекзаметр, и всей этой беспечной милой прелести, какой-то без притязаний, без этих маленьких ужимок, без подражательных затей, и этим мурашкам, покрывшим обнаженное, кажущееся бесконечно беззащитным плечо?

Первым на мушку экскурсии попался какой-то местный музей, и без того выглядящий взволнованно. Фасад его был потрепан, тут и там виднелись цементные нашлепки, старательно растертые, но еще влажные. Колонны — эта обязательная часть обмундирования всякого уважающего себя музея — местами также были подлатаны и даже отштукатурены и побелены, однако швы между прошлым и настоящим были отлично видны.

Музей содержал столько великолепной чепухи и был так торжественен и чопорен, что поэты совершенно онемели, бродя по залам. Смотрели минералы, бесконечно колючие и невозможно драгоценные. Смотрели рельсу, скрученную узлом. Смотрели стол из чистой меди. Возле выхода

стоял пулемет, грозный, но, скорее всего, беззубый, и, задрав нос, нес революционную свою вахту. Сережа бродил вслед за Юлечкой, стараясь быть незаметным, но в удачной невидимости его был изъян. Бродя вокруг нее да около, он обязательно то касался ее бедра костяшками пальцев, то склонялся вместе с ней, виском к виску, к очередной фотографии, составленной из кусочков, испуганно спрятавшейся от безжалостного людского мира за толстым стеклом витрины, чтобы взять граммулечку ее тепла, чтобы испытать деликатным виском прикосновение ее локона.

Из музея прогулочным шагом пошли по великолепному парку, по его аллее, заставленной по обеим сторонам резными деревянными буратинами (правда, с толстыми отечественными носами) и косматыми медведями. Вооруженные весельем, прошли парк насквозь. На выходе предстала перед экскурсантами избушка, без курьих, впрочем, ножек, размалеванная по последнему слову фольклорной моды. Возле резного крыльца, приплясывая под жалобные переливы гармони, стояли две ведьмы, то ли пьяные, то ли беззубые, и шепеляво голосили во все горло. Гармонист был точно отвратительно нетрезв так, что ему недоставало и шести ног, отпущенных ему на время игры, из которых, впрочем, только две были его собственные, а остальные четыре — табурета. Но играл он лихо, подбрасывал гармонь на колене, как будто, нянча, хотел ее расшевелить, а после принимался рвать ее надвое, причем в этот момент вид у него был особенно зверский.

В избе пахло всем тем, чем обыкновенно пахнет в избах. Ведьмы, отголосив свои «ай, люли-люли», продемонстрировали поделки, сварганенные местной фольклорной братвой из шишек, из костей животных (видимо, съеденных этими самыми ведьмами: это, во всяком случае, читалось по хитрым их глазам), из змееподобных корней и бумаги.

Потом экскурсантов угощали ужином на открытом воздухе. Все швыркали похлебку, расположившись, кто как умудрился: на крыльце, на пне, на медвежьем колене, возле буратин, а то и вовсе на траве. Дули чай из электрических самоваров, над макушками которых зачем-то орудовал сафьяновым сапожком ничего не смыслящий в розжиге самоваров гармонист. В нем все смутно подозревали Ивана-царевича, находящегося на пенсионном обеспечении у государства. Лопали кисель из плесени, но со сладким клюквенным вкусом. После ужина все вычурно прощались с ведьмами и с кустом, под которым дремал Иван-царевич.

Потом экскурсия подкатила к обрывищу, на самой вершине которого, как рог единорога, росло уродливое, неизвестного сорта дерево, почти без листвы, почти без ветвей, толстоствольное и мощное. Автобусы, вздохнув воздуха полной грудью, открыли двери, в которые немедленно вывалились пассажиры.

Как уже говорилось выше, за обрывом открывались просторы, с дымком и с загогулиной речки, в стеклянных водах которой лениво купался близнец солнца. Обрыв был страшен, кажется, совершенно бездонен, и на его краю, взбешенный посторонним присутствием, рвал на поэтах и поэтессах одежды шквалистый ветрище, полня воздухом длинные юбки и рубахи. Кто-то из поэтов полез в самый обрыв, цепляясь пальцами за траву, потом вскарабкался на дерево и расселся там среди коренастых ветвей, ничуть не страшась оказаться сброшенным в самую пучину, к горбатящейся, ссутулившейся ленте реки. Сережа помрачнел, когда Юлечка прокричала храбрецу что-то ободряющее (добрую половину слов раз-

метал над пропастью шквальный завистник). Вот с этого самого момента Сереже уже не было покоя, и все существование его со стороны, наверное, оценивалось как волоченье за Юлечкой, как нарочно ставшей задумчивой и прохладной, тогда как ему требовалась ее ответная пылкость, даже — пусть! — липучая страстность, не очень, если хорошенько поразмыслить, уместная и прилаживаемая к такому моменту. Ее, замершую на краю обрыва, он рассматривал теперь с жадностью, самого себя уверяя, что пыл его хорошенько прибран за пазуху и вряд ли приметен окружающим. Он вдруг задумался, что вот ведь оно, вот набухание, вот завязь, то, что следует запомнить, потому что, как бы оно и ни было существенно, однако никогда не запоминается, как никогда не запоминается первый младенческий вдох. Если же, случаем, оно и уцепится каким-нибудь случайным коготком, то все равно высохнет, высушенное временем, рассыплется, как забытый гербарий, потому что прикосновения к прошлым чувствам, уже давно истлевшим, уже давно замененным новыми, усовершенствованными, всегда неосторожны. Когда же оно рассыплется, еще и раздавленное какой-нибудь случайной, неосторожной подошвой, перехода — из одного состояния в другое — уже не вспомнишь.

Снова подошел Саженин, вооруженный какой-то новой, просительно-виноватой миной, переполненный желанием занять брошенного на произвол судьбы скучающего друга, и заговорил, и заговорил.

— Смотри, — сказал он (но это было зря, потому что Сережа и так не отрывал от Юлечки взгляда), — какая-то она, если смотреть отсюда, кривая и тощая.

— Сам ты кривой, — ответил Сережа зло, — сам ты просто слепошарый.

— Тощая-тощая, — не замечая Сережиного волнения, продолжил Саженин, — вся заросшая черт-те чем и, наверное, грязная и заразная.

Сереже захотелось насвистать ему по мордасам, по уже совсем не дружественным, за всю его бесшабашность, за дурацкие намеки и за бесхребетность, как вдруг он понял, что Саженин говорит о речке, которая, действительно, была тоща и крива. Но Сереже уже не хотелось выпускать воздух из своей раздувшейся обиды, хотя она и была надута до отказа, до тревожного звука, который она издала бы, если ее можно было бы задеть.

Автобусы зычно прокричали что-то о времени, которого, по всей видимости, осталось мало до чего-то; в их голосах чувствовалась усталость и голод; их голоса пробудили нервическую суету и толкотню. Сережа лихорадочно стал искать взглядом Юлечку. Она какой-то дьявольской силой была отнесена далеко от всех, к живому, шевелящемуся леску, и гуляла там в своем, таком же живом и шевелящемся платье, послушная стихии, полная невероятной, неожиданной кручины. Он побежал к ней, радуясь, что всю его поспешность можно списать на суету возле автобусов. Как же, как же: пойдем скорее, все ждут тебя; конечно же, без тебя не уедут, но все же; понимаю, мне тоже трудно расставаться с воздухом, с травой, с простором, но все там скоро начнут психовать из-за задержки. Однако она уже шла навстречу, а он думал о том, что ни за какие коврижки теперь не упустит своего, что ему уже пора отбросить покрывало своего мальчишества, теперь ставшего катастрофически неудобным, воинственно ворваться в автобус впереди нее, шпагой расчистить ей путь, вышвырнуть того, проткнуть этого, чтобы занять два места, ей и себе, и весь обратный путь чувствовать ее плечо, локоть, запах.

Она подошла, коротко взглянув на него, и они молча пошли к автобусам.

— Мне кажется, — зачем-то спросил он, — ты от меня бегаешь.

Конечно, вопрос вышел таким уродом, что Юлечка удивилась и пожала плечами, не найдя, что ответить всерьез, но все-таки спросила, с чего это он взял.

— Мне так показалось, — сказал он, и в голосе его проявилась препротивнейшая дрожь: детство, слабина, малодушие. Вот так всегда этим противоречием, паразитирующим на тебе, все портишь. Это когда вместо того, чтобы спуститься на неслышных крыльях, оттопырив их в стороны и вверх, как это делают птицы, и накинуться сзади, впившись поцелуем в шейку, в бесконечно родной, пушистый, вкусный, золотистый позвонок, пахнущий всеми фруктовыми запахами сразу, начинаешь странную игру, по правилам которой пытаешься казаться больше и громче, как будто перед тобой медведь, а не девушка, вскакиваешь на первый же попавшийся пень и с криком вразмашку работаешь руками и чувствами. Уже многое ясно в своем неудовлетворительном поведении, но расправу над собой откладываешь, ходатайствуя об отложении рассмотрения обвинительного приговора, и, несмотря на превентивные меры, творишь бесчинства дальше.

— Просто так, — сказала Юлечка, — просто я подумала, что уже прошло целых два дня, вспомнила, как хорошо сейчас дома, на даче, цветы и клубника, и все как-то стало горько, я заскучала, и у меня, как говорят старики, тут же сердечко расшалилось. Мне даже запахи домашними кажутся, так и стоят в носу, как вкопанные. Нюхаешь их, нюхаешь, и слезы на глаза наворачиваются.

— Зачем же скучать, — заторопился Сережа, — у тебя же есть я, такая погода вокруг, вот ветер, вот речка.

— Это ясно, — ответила она, и он понял, что ничуть не сломил обороны ее хандры, и так и шел остаток пути до автобусов какой-то особенно бережной поступью, словно из ведра щедро окаченный нежностью. Они влезли в автобус, минуя укоризненные взгляды, минуя общее душное внимание, минуя подчеркнуто не осуществленного в этом мире Саженина, и сели в два свободных кресла. Все сбывалось: прохладное касание локтей, ее цветочный запах, бесконечная, ровная теплота ее близости. Автобус рывком тронулся; Юлечка все время нервно дергала оконную шторку, Бог знает чего от нее требуя. Она была заметно расстроена, а подобные беспричинные расстройства дают право предъявлять гневные претензии бестолковым вещам и предметам, обязанным, но не соизволившим угадать человеческий каприз. В конце концов, шторка была распялена во всю свою ширину, чтобы ограждать интимную атмосферу до конца поездки.

Автобусы шли гуськом, мордами суясь прямиком в сгущающиеся сумерки. Жуткие, воспаленные глаза встречных автомобилей проносились мимо с рокотом, усиливающимся и убывающим по синусоиде, но, кажется, никогда не пропадающим. Юлечка дремала на Сережином плече, и он замер, ощущая приятную тяжесть ее головы, чувствуя, как напряжен, когда, амортизируя плечом, пытался как-нибудь облегчить ей тряску и болтанку. Он сам будто закостенел внутренне, даже закаменел, и лишь податливое плечо его теперь было пухло и подходяще мягко. Что-то такое случилось внутри Сережи, какая-то катавасия чувств, даже

переполох, когда сам, вроде бы в целости и сохранности, со всем тебе положенным набором мослов и шерсти, остаешься на месте, но дух твой, твоя сущность разрастается до вселенских величин; так что уже вовсе и не ты сидишь в автобусе, а машина раскатывает внутри тебя, громадного, невозможно громадного.

Автобус подпрыгнул на какой-то неожиданной кочке, и его тряхнуло так, что все дремлющие в нем проснулись. Юлечка так резко клюнула носом, точно желала лбом расколошматить собственное колено, проснулась где-то на финише кивка и выпрямилась, как-то уж очень осторожно оглядываясь вокруг, будто постигая утраченную во сне действительность.

— Приехали уже? — осведомилась она густой хрипотцой и безупречно по-детски, кулаками, протерла глаза. «Вот оно, — подумал Сережа, — мое заспанное, чуть припухшее и румяное диво, немного неприбранное, с тонким, угловатым розовым следом поперек щеки и через висок». Его распирало упоение, черт знает откуда взявшееся. Юлечка вновь прикорнула на Сережином плече, глазами, еще не поверившими в наличие окружающего мира, поглядывая вокруг, все время немного прищуриваясь, как от избытка света. Господи, ну вот почему больше всего хочется писать, когда заняты голова и руки — женщинами и бухгалтерией? Вот так и выдал бы какой-нибудь хорей, хорек, хореишечко: та-та-та-ти, та-та-та-та. Ведь сколько потом и чего из вышеперечисленного ни кончай, сколько ни беги потом — голый и мокрый между лопатками — к листу, муза, словно не прощая опоздания, не дастся. Покажет язык, бок, но не дастся, пришлет вместо себя какую-нибудь второсортную, видимо, по вызову, но, как и всякая проститутка, та будет нестарательной, бесстрастной и обязательно фригидной. Ведь столько вхолостую прожито скук, которые, как раковины, так и остались пустотелыми, но не зарифмованными, и сколько рифм и ритмов было заверчено вхолостую, оставлено в закоулках памяти. И не выцарапать их теперь уже, хотя все они будут еще сниться и выглядывать из-за угла, дразнясь.

Все кончилось: автобусы, пискнув, встали нос к носу, как это делают собаки, когда принюхиваются друг к другу, и затихли. И тут же тускло, как-то даже уютно, зажглось их нутро. Устало разминая ноги и шеи, под руки и вразнобой, экскурсанты побрели к корпусу профилактория, казавшемуся лежащим среди мрака на боку. Сережа шел возле Юлечки, думая о том, как бы взять Юлечкку под руку; кажется, она сама давала великое множество поводов ее коснуться, принять под локоток, дрожала, съеживалась, переплетая руки на груди, словно саму себя обнимая. Ее плечи поднимались, становясь еще более угловатыми, и в зябких жестах ее было столько холодной стремительности, колючей, как будто связанной из шерсти, столько поспешности, от которой веяло сквозняком, что Сережа и не заметил, как они вошли в здание. Прошли холл молча и хмуро, сторонясь потолочного света, поднялись на второй этаж, уже сонный, уже в неторопливых, осторожных тонах, и где-то возле Юлечкиной двери застопорились.

— Постой, постой, — попросил Сережа, взяв ее за локоть, но локоть ее оказался холоден и тверд, и неприступно неподвижен. Юлечка, порывисто высвободившись, достала ключ с прицепленной к нему голосистой биркой и с хрустом отперла дверь.

— Сережа, послушай, — устало произнесла она, но фразы не докончила, осторожно, мелкими шажками, вступила в черноту комнаты, но на полпути приостановилась, прислонилась виском и медленно обернулась, головы от косяка не отнимая, словно ею вкруговую по косяку прокатываясь.

— Юлечка, — попробовал было Сережа, но она прервала его, покачав головой.

— Сережа, милый, — сказала она, — иди к себе, уже очень поздно.

— Нет уж, — ответил Сережа с какой-то показной бойкостью, вуалирующей собственное утомление, — еще не поздно, выходи ко мне, прогуляемся, потрещим о поэзии, о жизни вообще.

— Я совсем без сил, — ответила она кисло, ногтем колупая косяк, — почти не спала предыдущую ночь, вообще еле держусь на ногах, а завтра рано вставать. Иди, я совсем раскисла в этом автобусе. Иди, погуляй с кем-нибудь, найди себе какую-нибудь девушку, поболтай с ней...

О, черт возьми, какой это ловкий тактический ход: все это ее отступление! Продуманный в мелочах шаг назад, на цыпочках, на мысках, цеплянье за дверь, как за спасительный заслон, и обязательное давление этой самой дверью, натиск, оттесняющий Сережу, и так завоевавшего совсем немного. Так в каком-нибудь давнишнем фильме черно-белый лик героини тонет в черноте за дверью. Медленно, без рывков и без всякого сопротивления; чернота, как трясина, затягивает героиню, и вот уже только бледный промельк едва виднеется, но вскоре и он исчезает. Дверь захлопывается. Круги на поверхности утихомириваются. Бульк, последний выдох. Герой, озадаченный и удрученный, остается один.

Сережа вернулся в свою комнату и сразу лег. Как же это удивительно, решил он, лежать поверх холмов одеяла, в простонародной — руки за голову, ногу на ногу — позе, как пастух посреди какого-нибудь поля, болтая ногой и насвистывая мотивчик. Сколько времени пройдет, прежде чем беспросветная чернота будто бы окаймится горизонтом и зависнет над тобой, до странности четырехугольная, как потолок. На фронте ее примешься искать романтичные крапины звезд, и звездные гурты, и завихрения туманностей. Затем просветлеет в голове и в воздухе, и засмеешься над шуткой, сном не доделанной, хотя и заявленной. Начнешь повелевать временем, скукожившимся в дымное колечко, ради забавы пустишь его трубочкой губ. Ловушкой сердца поймаешь раскатистый, четкий взрыв строф, неожиданно собравшихся из первых же попавшихся слов, которые на излете ночи остынут, потемнеют и вовсе исчезнут без следа.

Проснулся он поздно. За окнами кто-то сыто ржал, пародийно декламируя чьи-то несчастные строки. Комната, наверное, всю ночь проведшая без одеяла, совершенно продрогла и выглядела теперь сердитой и нахохлившейся. Наспех умывшись, обдумывая местоположение Саженина, не явившегося ночью в комнату, Сережа прошел вдоль всего коридора, присматриваясь к обликам дверей, в которых он подозревал принадлежность к Юлечкиной комнате, наконец, нашел нужную и постучал. Возня, скрип пружин, шаги, потом все стихло. Мысль о Юлечке, материализовавшаяся, сонная, уютная, завернутая в одеяло, подкралась к двери с той стороны, лбом прижалась к косяку, забыв произнести обязательное в таких случаях «кто там?»

— Юлечка, — позвал Сережа и вновь постучал, но теперь ему не открывали с хорошо слышимым облегчением, и пока он проверял

крепость дверного замка, сообщили как-то уж слишком радостно, что Юлечка уехала.

— Как уехала? — крикнул Сережа и немного поколотил хлипкую дверь, немедленно его испугавшуюся и начавшую поддаваться, — как уехала, когда?

— Утром уехала, — ответили где-то там, наверное, сонно улыбаясь.

Сережа вернулся в комнату. Он некоторое время сидел на своей кровати в дурацкой, неудобной позе, вызвавшей атаку мурашек, которые немедленно овладели его ногой, и шарил по карманам, чем-то там впустую позвякивая. Он вдруг поймал себя на мысли, что вот так же и душа его в этот момент сидит с опущенными плечами, роясь в карманах, ищет мелочь на дальнейшее свое прожитье; находит, быть может, несколько монет и, подбросив на ладони, проверяет тяжесть имеющейся в наличии жизни. Вот она, стандартная любовная развязка, с подлинной страстью пестуемая классической литературой: белый костюм одиночества, обрыв, мирно катящиеся воды реки и неподдельное горе брошенного на произвол судьбы любовника, каменнолицего, колом битый час торчащего на крутояре. Горе наше демонстративно, а позы скопированы с античных. Мы вобрали в свое горе всю мировую практику несчастья. Мы с педантичным хладнокровием подумываем о том и об этом, и черт знает о чем, и о мироздании, и о наложении на себя рук. Но, впрочем, ах, оставим все это в сторону: нам нужно, прежде всего, отыскать разобидевшегося вдрызг Саженина, чтобы он подсказал сейчас, как нам вернуться в жизнь.



ВАЛЕРИЙ КАЗАКОВ

Сквозь годы на свет...

* * *

Как быстро вырастают дети.
В ночи меж туч скользит луна,
и блики пляшут на паркете,
чертя чужие имена.
Как дети быстро вырастают
и, нашу молодость забрав,
нас постепенно убивают
одной из сладостных отрав.
Но в этой правоте безумной
я счастлив истиной одной,
что этой страшной ночью лунной
я не один — они со мной.

* * *

Я помню хлеб,
что бабушка пекла.
Дышала печка хлебным жаром,
и этот дух над домом старым
вставал
и плыл к околице села...
И детских дум прозрачные ростки
тянулись к запаху, как к небу.
И небо наполнялось хлебом,
и мы росли,
как в поле колоски...

Яблоко

Вот яблоко.
Свой труд закончила природа
и, оборвав земную связь,
мячом
швырнула с огорода
его на рыночную грязь.

Еще не продано, не съедено,
торговца отражая глаз,
своею красною отметиной
оно рассматривает нас.

* * *

Рубаха, темная от пота,
и пот, как слезы, на глазах,
и мышцы взбухли от работы,
и звон косы поет в ушах —
Жах-жжах-жах-жжах...
Забытый праздник сенокоса,
жара, июль, жужжат шмели,
и луг поет многоголосо
слова во здравие земли,
что нынче буйно уродила.
И бьют у речки родники,
и жадно пьют
земную силу,
к воде приникнув, мужики.

Муравей

Ревели грозные стихии,
гудели войны и века.
Народы гибли и всходили,
а он все полз наверняка.
Мы в суете теряли годы,
решали, что и кто главней.
Мы укрощали власть природы,
но полз все так же муравей.
Ему неведомы границы,
указы грозные властей.
Мелькают лапки, словно спицы,
ползет куда-то муравей.

* * *

Столбы, пустынная дорога
и колесо в своем вращенье,
как будто брошенное Богом,
бежит за собственною тенью.
Не понимаю этих знаков
и их страшусь,
воображенье
напоминает мне, однако,
что круг и разума круженье,

в одну сливаясь бесконечность,
нас обращает в эхо, в тени,
и мы,
губами тронув вечность,
уже становимся не теми.
Кресты, пустынная дорога
и колеса скрипучего вращенье
нас приближает молча к Богу,
и я бегу за собственною тенью.

* * *

Племенная корова поэзии
густое дает молоко.
Колокольчик погромче повесили,
чтоб не зашла далеко.
Ах, кормилица наша, буренушка,
раскормили тебя клеверком!
И меня подпустили, гаденыша,
Попитаться твоим молоком.

* * *

Памяти отца

Я на запад не шел,
я не мок по траншеям,
не носил «кубарей»,
не курил самосад.
Я родился и жил,
и вытягивал шею,
восхищенно читая названья наград.
Я не знал, что в крови моей бродит железо
тех осколков,
что носит в себе мой отец,
и на годы свои, как на линии среза,
я смотрел свысока,
словно книжный мудрец.
И казалось мне, что, постигая науку,
я познаю земного творения суть,
но над бездной листа занесенную руку
задержал,
и открылся сомнения путь.
Подступили слова, позабытые напрочь,
и в прокуренном мареве душного дня
показалось мне вдруг,
что я маленький мальчик,
оседлавший отцовский сапог, как коня.

И в шершавых мозолях крестьянские руки,
а не книги,
в которых искал я ответ,
и железо отца,
            а не храмы науки
меня вывели молча сквозь годы на свет...

* * *

Я загнан в кольцо, я лечу по кривой,
касаясь едва циферблата.
Давно потерял я и сон, и покой
в кривых переулках Арбата.
Куда я спешил, там не ждали меня,
но все же стелили диваны.
Как жутко чужая хрустит простыня,
и хлоркою тянет из ванной.
Мне крохи бросали на праздничный стол,
со мной говорили на равных,
наутро я гордо с авоськами шел
на рынок из этих парадных.
Я честно платил за добро, что имел,
за книги и угол батрачил.
О сколько чужих переделал я дел —
свое до сих пор и не начал!
Но знал, что когда-то споткнется луна
об эти усталые камни,
и черная ночь, как чужая жена,
откроет мне радостно ставни...



МИХАИЛ ПОПОВ

Встречный марш

Рассказ

1

Как с этим бывало до недавних пор? То годами молчат, не тревожат, совсем не дают о себе знать; минует пять, восемь, десять лет, и в круговерти будней, в суете повседневности ты и сам уже забываешь, что есть у тебя одна, самая главная мужская обязанность... И вдруг звонок, повестка из военкомата, распишитесь в получении. Что? Куда? Воинские сборы. Переподготовка. На все про все 24 часа. И в 9.00 ты, браток, как штык, обязан быть на сборном пункте, имея при себе военный билет, ложку-кружку и минимум необходимого на дорогу...

Примерно так произошло и тут. Походная труба взвилась по весне. Место назначения — Ярославщина. И — в путь...

По дороге выяснилось, что собрали их гуртом со всех родов войск, даже моряков, хотя ближайшее море, Рыбинское, и морем-то назвать нельзя. Волжский пузырь, вздувшийся по державно-индустриальной воле, — какое это море!

Дорога к месту назначения вызывала печаль и уныние. Заброшенные деревни, разоренные фермы и силосные башни, заметенные прошлогодним травяным мезозоем поля... И как причина исхода и одновременно укор — воздетый к небу перст колокольни посреди затопленного земного простора.

На службе, где не своя воля, сходятся когда как. Когда по ранжиру: «В колонну по четыре стройся!» Или по номерам: «На первый-второй расчитайсь!» — и номер второй иногда становится первым у пулемета. Или, как на фронте, — «на котелок». Один, мелкий по калибру, меньше ест, зато тот, что кубатуристей, в случае надобы подсобит силой.

Так и тут. Их четверых сначала сбило-сплотило сборной теснотой, а потом они оказались в одном строевом гнездовье — тогда и познакомились. Архип Малыгин с Белого моря, Ростислав Шелег из Ростова-на-Дону, Степан Бурцев с Нижегородчины, Игорь Смолин из Смоленска. Вроде и случайно сошлись, будто кибасы-поплавки в неводе. А ежели прикинуть — и закономерно. Один рассуждает, другой подначивает, третий дополняет, а четвертый будто итог подводит. Или наоборот. В зависимости от обстоятельств или настроения. В русском мужике ведь всего понамешано: и швец, и жнец, и на дуде игрец; он то до изнеможения мантулит, то баклуши бьет; то лихачит, то горюет, то горе веревочкой завьет и тоску-кручину смехом разгонит...

После удручающих картин дороги, которая, казалось, не сулила ничего хорошего, им предстал не иначе оазис — до того аккуратным и чистеньким оказался военный городок. Светлый забор, обкошенная по периметру трава, листва на кустах подстрижена — причем как? — шарами, пирамидами да

кубами, точно в английском парке. Чудно и чудно! Небось декоративные, ведь май же на дворе. Или настоящие, но покрашенные. Так заключили армейские бывальцы, поминая, как к приезду какой-нибудь папахи — например, инспектора из окружного штаба — красили веселенькой зеленью побуревшую траву. Шустрый Шелег сорвал листок — нет, живой и пахнет.

Армейская служба, в том числе и переподготовка, в обиходе — «партизанка», начинается со стрижки и бани. Что может быть отраднее после долгой пыльной дороги, чем тазик воды да кусок душистого мыла! А тут к тому же без ограничений — плещись сколько душе угодно! Да не торопясь — старшины нет. Два дедка бородатые, видимо, вольноопределяющиеся — вот и все обозримое покуда начальство. Дедки — в бане, они же — в столовой, да и в казарму до койки дедки препроводили. Спите, сынки, отдыхайте. Сил набирайтесь. Силы понадобятся...

Сон Ростислава Шелега

Донская степь. Устье Медведицы. Хата деда Фрола с края хутора. За ней — колхозная бахча. Вот она и снится донскому казаку.

Они с дедом ночуют в соломенном шалашике. Спелое утро. Ростик-малоростик просыпается. В треугольном проеме видны алые лампасы и ломти арбузов, крупно напластованные рукой старого рубаки. Выбираясь из тенечка, Ростик жмурится и мостится к столику. Тут на блюде — скибки арбуза, на полотенце ломти ржаного хлеба, в глиняном глечике — парное молоко. Взгляд обхватывает все разом. Но руки тянутся к арбузу. Фу! Фу! Округ пчелы ворчат-гудят, тоже норовят к сладости. Деда они облетают, ни одна не коснется телесного массива, а на него, мальца, сердятся, угрожающе тычутся, не признавая хозяина. Эвон и сюда, и сюда, пучит возмущенные глаза Ростик, торкая себя в грудь растопыренными пятернями, словно прошивают его пулеметной очередью. А дед смеется: да ведь не кусают же! А и то правда. Дед ведает кудесные заговоры, и ни одна пчела не посмеет ужалить ни его, ни, тем более, внука. Потому и улыбается. Зубов у старого вояки осталось немного, а будто как во весь рот сверкают. Может, оттого, что больше глазами смеется. Дед гладит его по голове, ерошит выгоревшие волосы, а потом берет на руки и вздымает подвысь, дескать, расти, Ростик! А чтобы быстрее внучек подрастал, креп да закалялся, подтягивает небольшую, но обильную тучку и устраивает дождевой душ. То-то смеху да визгу, когда дед да внук пляшут в пузырящейся луже, обдавая друг друга брызгами.

Не эти ли брызги, создающие радужку, перекидывают мостик в другой сон? Это кузня. Здесь дед мастерит подковы и ухнали — гвозди для ковки. Мехи, раздуваемые еще могучей казачьей рукой, вспучивают горнило. Почти выправленная подкова раскаляется добела. Дед выхватывает ее щипцами, кладет на наковальню, короткими ударами молотка довершает форму и тут же сует подкову в воду. Для закалу, поясняет он. Вода шипит, будто ошпаренная, клокочет, сердится. Немного страшно и одновременно весело.

Сон надевается на сон, ровно колечки на игрушечной пирамидке. Вот еще один. Теперь снится, как дед среди зимы приезжает к ним в

город. Он, Ростик, на ту пору первоклассник, гриппует. На ногах деда Фрола ичиги — длинные шерстяные носки, он мягко подходит к его, внука, кровати и подносит к уху спичечный коробок. Оттуда доносится ласковый стрекот. Что это? Дед загадочно подмигивает, тайничок открывается и... Сверчок! Куда девается хворь и хандра?! Прыг с кровати, словно болезни и не было. Вот это подарок! А дед для закрепления процесса выздоровления, оказывается, еще один сюрприз приготовил. Откуда-то из потая, из присердечного кармашка он извлекает другую коробочку. Сим-сим, открой дверь. Это дед так приговаривает. Открывается створочка. На зеленом листике клевера — это в канун Нового года — покоится божья коровка. Живая? Божья коровка, обиженная недоверием, поводит крылышками: а ты как думал?! «Божья коровка, полети на небо...» Дед с внуком начинают распевать известные детские заклички, а потом, когда запас подходит к концу, придумывают сами: небо рифмуют с хлебом, а приветы — с летом. Еще бы! Ведь так хочется опять под бок Медведицы, на бахчу, где пахнет арбузами, медом, где поют гимн лету укрощенные дедом пчелы и шмели.

Сон Архипа Малыгина

Для моряка дневной сон — адмиральский час. О чем сны? Когда как. Сейчас о насущном, свежем. Вот облачили во все белое, чистое. Остальным-то невдомек... А моряку-подводнику приметно: так экипируют в радиоактивную зону, к реактору. Белая рубаха, белые исподники, белые бахилы с подвязками, счетчик в нагрудный кармашек — этакая авторучечка, которая трещит, как запечный сверчок. Разница лишь в том, что сверчок мажорит, а тут — опаска, сплошной минор... Впрочем, стоп, чего раньше времени... Счетчиков не выдали. Ни кирзачей, ни ботинок, ни бахил — сандалии только легкие. Во сне, однако, недоверие: мягко стелют, да жестко спать. Может, в зону все-таки... Опыты на людях. Бывало же такое. На взрыв ядерный гнали людей...

И тут как облегчение — батя. Батя всегда является вовремя. На то он и батя. И слова верные, и тон. И даже просто молчание. Скупая улыбка, ласковые мудрые глаза. И этого довольно.

Батя — авторитет. Всем и во всем. А ведь тоже был мальцом. На судострой пришел со школы. Щуплый был, невысокий. На «букашках»-дизелюшках начинал работать, подлодках чуть не военной поры. В первый же день трудовой биографии отправили на «заказ» ту самую «букашку». В самой корме надо отдать запорный клапан. Взрослым работягам невпротык — лаз, что лисья норка. Кивают ему. Сунулся — пролез. Ключ 20 на 24. Восемь шпилек. Гайки отдал, то есть открутил, клапан снял. А назад как? Лиса, когда выбирается наружу, ведь разворачивается в норе. Да он-то не лиса, даром что еще невелик. Да и места для разворота нет. Вытаскивали мальца за ноги, об острую кромку робу порвали, колено ободрали. Вытащили, а он на ногах не стоит: надышался там в щели угаром масляным да малехо струхнул, вот и обнесло. Ничего-ничего, скалятся мужики, давая понять, что вроде крещение принял. А вечером к себе в общагу зазвали и ему, шестнадцатилетнему, они, мужики по тридцать и больше, спирта на равных плеснули...

Видится это Архипу и представляется, что все это было и с ним. С батей, конечно, но и с ним будто. Ведь судострой, флот да судоремонт — составные части единого целого.

Североморск. У причала — стальная акула. Это теперь ваш дом и наша общая государственная крепость, внушает командир новичкам. Батя этот дом и эту крепость ремонтировал, а он, сын, попал служить сюда. Причем гидроакустиком — на ту самую систему, которую батя отлаживал. Батя — Ползунов, Кулибин и Попов в одном лице — первый спец по акустике, а еще — потомственный слухач. Дед его, старовер, певший в старообрядческой общине по крюкам, слышал на сажень крота, по шелесту крыл определял заречную птицу, безошибочно выводил лодку туда, где стоит-дремлет, пуская пузырьки, щука. Абсолютный слух у них с батей от пращура. А у него, Архипа — еще и имя. Комиссия призывная удивилась имени. А оториноларинголог — слуху: небось, в музыкальном учился? Учиться-то учился, да пришлось оставить — нечем стало платить. Середина 90-х, сплошная нищета! Батя, классный специалист, получал копейки. Доходило порой до того, что одной капустой питались. В заводской столовой по карточкам хлеб давали, как в войну.

Хорошо, брат выручал. После учебы в совхозе-техникуме его оставили там мастером. Вот он и подбрасывал кое-чего в город: то картошки, то муки, то лытку мясную...

При мысли о брате сон Архипа меняет курс.

Старший брат Антон потянулся к земле. Батя поначалу ворчал: шел бы во ВТУЗ, на производство. А потом и смирился, заключив, что это гены, ведь он и сам в деревне родился, а стало быть, крестьянский корень дал свежий побег.

Антон осел близ родных батиных мест, на Онеге. Там женился, дети пошли. Но горбачевско-ельцинская лихоманка порушила весь уклад, все его намерения и планы. Сначала ушлые людишки, неведомо откуда взявшиеся, разорили совхоз, умыкнув ценное оборудование, часть техники и комбикорма. Попробовал Антон с соседями отстоять хотя бы отделение совхоза, да где там! Те же хваткие пришельцы, по сути бандиты, сговорившись с районными временщиками, налогами, проверками да подзаконными актами задушили их артель. Тогда Антон — делать нечего — основал фермерское хозяйство. На пай ему передали трактор, клин пахотной земли и часть пастбища. Завел коров, отсеялся, все как полагается, трудился не покладая рук, аж почернел. Да не задалось его фермерство. Что ни год — одни убытки. Молока не сбыть — рынок поделен теми же «братками». Топливо, что ни месяц — дорожает. Ну, не дико ли — литр солярки по цене равен литру молока! Где тут выстоять?! То с хлеба на воду, то с воды на хлеб. А в семье уже трое огольцов. Кормить-поить надо, в школу справлять...

Такой вот сон снился Архипу Малыгину, подводному слухачу. Не сон — сплошные акустические помехи. И это означало только одно — не отлажена или вовсе не годна установленная система.

* * *

После сна состоялось построение. Двадцать с чем-то душ — почти взвод. А перед ними — те два деда с бородами, что обихаживали их

в бане и в столовой. Ешкарне! Как же они опростоволосились! Как же сразу-то не смекнули, что это не вольноперы. Ведь видна же стать и выправка офицерская, даром что без привычной формы! Ну и ну! А они-то, ухари: вели себя за столом по-панибратски, без субординации! А ну как это — испытанье, проверочка на вшивость, и бородачи-командиры теперь отыграются?!

Деды тоже были во всем светлом. Ни погон, ни нашивок — поди догадайся, как обращаться. Но меж собой они различались.

Один высокий, неторопливый, скупой в жестах. Облачение на нем какое-то старинное, не иначе древнегреческое, так заключил Игорь Смолин, отучившийся два курса в techинституте. Но туника это или тога, определить не смог. Наверное, он старший, возможно, даже генерал — у него и обутка красовитее. Так заключил Архип Малыгин, обратив внимание на сандалии. А на груди что? Может, орден, предположил Шелег. Фибула, пояснил Смолин, не исключено, эмблема подразделения, но добавил без уверенности. Сейчас ведь форма меняется, что тебе женская мода. То фуражка замахом до небес, облака цепляет, то карманы накладные («Для сбора дани»), то кепи, как у «пиндосов» или эсэсовцев из зондеркоманды. Это вместо пилотки-то. Поди, разбери, чьей армии вояка!

Другой бородач был в длинном рубище, подпоясанном то ли тонким кушаком, то ли ремешком от нагайки, и в светлых портах. При этом босой, даром, что земля еще не совсем прогрелась. Рукава до локтей закатаны, руки мускулистые, работные. Полковник — не полковник, но видать, боевой, не чета нынешним паркетным генералам.

Говорил больше именно он. Степка Бурцов, нижегородец, прозванный сходу Разиным по говору его — окающему да обстоятельному, — почуял волжанина: «земеля»!

Ничего особенного на построении сказано не было. Обвыкайте, знакомьтесь друг с другом, думайте. Это пока главное. Режим свободный, все основано на самосознании и товариществе. В учебной части есть все необходимое: уставы, история войн, тактика и стратегия современной войны, экономика мировая и отечественная, аналитика, статистика, публикации ведущих экономистов и политологов... О дальнейшем узнаете. Но задача предстоит ответственнейшая.

Доверительное отношение настраивало на деловой лад. Занимались добросовестно и основательно, благо в учебной части все для этого было: персональные мониторы, аудиокабинки, книжные полки. Все усвоенное, представленное в доступной, убедительной форме, возбуждало мысли и чувства. Хотелось поделиться, обсудить. Но в учебной части стояла тишина. Так было условлено. Лишь иногда, словно порыв ветра, проносилась чья-нибудь безмолвная реплика. Ты посмотри! Я перед дедом-казаком благоговел. Перед его годками-фронтовиками по струночке ходил, хотя и вырос, а погонами уже и перерос... Они же герои, богатыри... А этот аника-воин, метр с кепкой, который и в армии-то не служил, перед фронтовиками сидит...

* * *

Дневная самоподготовка плавно перетекала в вечерние посиделки, вот тут-то и начинались разговоры-обсуждения, воспоминания да сравнения.

Обихаживали их, как и прежде, деды-бородачи. В разговоры они не встревали, держались просто и ненавязчиво. По вечерам подносили вина. Угощайтесь, сынки. Вино было легкое, ласковое. Оно не растравливало душу, а наоборот — успокаивало.

Шелег опять вспомнил своего деда. Однажды на фронтовом биваке казак Фрол раскинул самобранку для двух генералов: Доватора и Белова. Обедом те, хоть фрицы и «поперчили» минами, остались довольны. Доватор помянул сказку «Как один мужик двух генералов прокормил». Фрол Шелег насупился: казак, Лев Михайлович, казак, товарищ генерал! Да, добавил Смолин, у классика мужик — двух генералов... А у нас два генерала целый взвод потчуют...

Смолин с вином не спешил — душа меру знает, — хоть и по вкусу пришлось оно. Это не сырец вперемешку с тушенкой возле колес БМП да к тому же вприкуску с дымом... Посвист пуль, чад и копоть. Что там дотлевает в воронке? Резина какая-то — ошметок шины или привода... А ты приглядись. То не резина, то чья-то рука чадит, обдатая фосфором...

Сон Игоря Смолина

Вино уносит от войны далеко — никакой «стингер» не достанет. И из Герата уносит, где ранило, и из Ашхабада, где полгода валялся в госпитале. Куда же уносит ласковая хмельная волна бывалого солдата? Да домой, в Смоленск, на родину.

Казалось бы, какой дом у сироты? Приют, потом студенческое общежитие, потом казарма, откуда увезли на войну. А вот нет. Дом и семья — это тетя Капа, крестная мать. Еще в отрочестве она тайком крестила его. Хотела усыновить, да не позволили: зарплата детдомовской кастелянши крохотная, а жилье — одна комната в коммуналке, мало. Точно приютская спальня с двухъярусными койками — царские палаты. Формально семьей они с тетей Капой не стали, но духом с мамой Капой соединились навечно и для подтверждения этого обменялись крестиками. Вот этот крестик, что мама Капа повесила ему на шею, провожая в армию, и спас его в Афгане. Он знает — был знак.

Сон сержанта Смолина пульсирует, что пламягаситель пулемета, а виденья отскакивают, точно отстрелянные гильзы.

Вот глаза Ленки, его первой и единственной любви. Когда-то ликующие, хохочущие, мерцающие в темноте и удивленные на рассвете, они потускнели. Она прячет их за веками, не в силах поднять взгляд, и глядит на его грудь: слева — медаль «За отвагу», справа — орден Красной Звезды. Губы ее кривятся: ге-еро-ой. Но почему такой тон?! Точно это не она его предала, а он ее. Да ведь неправда. Это она польстилась на богатого жениха, выскочила замуж, а потом оказалось, что деньги у того ворованные... Очнись, Лена! Ты сломала жизнь себе и мою тоже... Я бросил институт, ушел в армию, попал на войну, был ранен. Вот здесь, под орденом, след от пули... Разве все это справедливо?

Жажда справедливости — его корневое чувство. Именно оно побуждает к действию. Вот он, Игорь Смолин, депутат областного совета. Не все понятно с новыми законами. По сути, кажется, правильно, но за ними, будто тень, возникают подзаконные акты, которые творятся в теневых кабинетах. Голосуешь за одно — правильное и справедли-

вое, — а на деле оказывается совсем другое — лживое и двусмысленное. Да ведь и немудрено. Среди депутатов немало подозрительных лиц. Один из них — бывший муж Ленки; не успела просохнуть печать на судебном протоколе, а он уже на воле, да к тому же в народных избранниках и пользуется депутатской неприкосновенностью.

В Афгане было куда как проще. Вот — свои, вот — чужие. Цель на мушке и — пали. А тут вроде все свои, а как чужие.

А вот Москва. Поехал туда, узнав про комбата. Его комбат, которого он вытаскивал раненого из-под огня и закрывал собой, чтобы не добили «духи», стал политической фигурой. Майор, Герой Советского Союза, депутат Верховного Совета или в обратном порядке, но прежде всего крепкий русский мужик, настоящий человек.

Ни в свой кабинет, ни в номер гостиницы, где он проживал, комбат своего спасителя не пригласил: все прослушивается, увлек в загородный ресторанчик, подале от чужих ушей. Многое открыл ему комбат в том застолье. Чужих во власти больше, чем своих. А внешне свои — многие куплены, начиная сверху. И этот, с пятном, и этот, трехпалый, и те, что в комиссиях по Вильнюсу и Тбилиси... Куплены с потрохами и исполняют чужую волю. А в заключение разговора комбат тихо обронил: остерегайся, Игорек, а лучше уходи, пока не опутали. Душа у тебя хрупкая, предательства не вынесешь и, не дай бог, чего-нибудь натворишь, сломаешь себе жизнь.

Больше с комбатом они не виделись. Он погиб с оружием в руках в октябре 93-го года, защищая Белый дом и законную власть. Но где похоронен, где его прах — никто уже не ответит: говорят, закатали танками...

Увидев по «ящику» расстрел Верховного Совета, Игорь ушел из областной власти и снова подался в армию. Там было проще, и, казалось, он, имеющий боевой опыт, там нужнее. Было это в 94-м году. А накануне Нового года их полк бросили на Грозный...

Унесло было вино в мирную жизнь, но война опять настигла солдата. Да и куда денешься от горькой памяти?! А кинула она на сей раз сержанта Смолина на площадь Минутки — в самое пекло. Прислонившись к остову разбитой БМП, он тупо глядит, как догорает рука то ли стрелка, то ли механика-водителя. А вокруг воронье, которое не пугает ни чад, ни канонада. Грачи — на харчи! — хрипит раненый старлей, командир их разбитой роты. Материть министра обороны и трехпалого верховода бессмысленно — ни совести, ни чести там нет, они, кинувшие в бойню необстрелянных мальчишек, не застрелятся. Стреляется старший лейтенант, принимая на себя вину. Так заведено кодексом офицерской чести.

Деды-бородачи — оба генералы. Все сошлись на том по настойчивому убеждению Степки Бурцева. Не желал Разин, чтобы «земеля» был ниже званием. Однако же уступку сделал: высокий — по боевой подготовке, а его, Степки, «зема» — по хозяйственной части. Это же видно. Высокий, статный, осанистый и борода княжеская, так и видится впереди богатырской рати. А «земеля» попроще: коротконогий, чуть косолапый, приземистый, зато рукастый и туловом взял.

Сон Степана Бурцева

Степке во сне видится огромная кошара, где работает его дядька. Это в приволжских степях, куда мать отправила его на каникулы. Дядь-

ка отбирает в загонах ярок и баранов. Коренастый и рукастый, он стоит поперек овечьего потока и делит его на две части, хватая животину за рога или холку: этого сюда, эту сюда, этого в отару, этого на забой. И руки его, что поперечины шлагбаума, ни на миг не замирают — туда, сюда, туда, сюда...

Это тогда Степку впервые коснулась мысль о судьбе, о жизни и смерти. Кто же решает это — быть тебе или не быть? С овцами понятно — дядька Митяй, а с людьми? И почему выходит так, а не иначе? И случайная смерть — это тоже судьба или ее вывих? Вопросов было больше, чем ответов. Он так и не решил ничего, пока не попал в армию. Служить выпало в миротворческой части в Абхазии. Тут смерть приблизилась к нему на расстояние винтовочного выстрела. Вопросов не стало, а ответов было два: или — или...

Сон Ростислава Шелега

До чего же спится после этого вина! И сны все ласковые. Вот предстает в полном составе семейство: жена Тая и сынки-близнята Тема и Тима, то есть Артем и Тимофей. Где это? А-а, на кладбище, возле могилы деда Фрола. Весь крест увит плющом, к кресту ластятся тимофеевка, люцерна, вьюнок, колосья пшеницы и ржи... Все, что дед любил и лелеял. И пчелы округ вьются, и шмели — тоже на помин собрались — жужжат умиротворенно, благодарственно.

Большую жизнь прожил дед, говорит Тая, — почти девяносто... Да, кивает он, а ведь и ранен был, и контужен не раз. Три ордена, в том числе Славы... Боевой был. А в мирной жизни мухи не обидит. Так по сию пору вспоминают на хуторе. Всех приветит, обласкает — всякую былинку, букашку... С миром ладил, потому и прожил почти век... А мы? — встревает Тема. А мы, — подхватывает Тима, — долго проживем? И мы долго, — уверяет он, отец. — Если будем миром жить. Землю свою беречь, реки, леса, воду, воздух... Родину.

* * *

Иногда отцы-командиры покидали пределы части, отлучаясь по неизвестным, только им ведомым делам. И тогда руководство подразделением поручалось Игорю Смолину. Старший по званию, он был замкомвзвода в Афгане, под Грозным, а когда погиб взводный, взял командование остатками взвода на себя — дело привычное. Так и тут: выводил бойцов на построение, объявлял распорядок дня, давал хозяйственные поручения, вел занятия, когда завершалась самоподготовка. О чем говорил? О том, что положено знать солдату: обстановка в мире, в стране, кто с кем и за кого — тут все важно. А еще, конечно, собственным опытом делился и побуждал к этому сослуживцев. Он у всех разный, житейский багаж — у кого больше, у кого совсем крохотный. Но ведь из таких малостей и складывается вековой народный опыт.

...Самый младший, Степка Бурцев вспоминал свой миротворческий блокпост. Южная Осетия. Август. Звезды, как гроздья винограда. Стрекот цикад. Покой и тишина. Пользуясь случаем, принялся он при

свете фонарика читать письма родителей. Подвернул ближе к огоньку и тут — пуля, как раз посередь матушкиного письма. Письмо вспыхнуло — пуля, видать, была зажигательная. Так и не узнал, как там дома, как здоровье матери, как ведут себя младшие братья — Санька да Гешка. А отцовское письмо сбереглось. Отец уехал на заработки в Германию. Работал на какой-то стройке вместе с греками и турками. Эхма! Как же все перемешалось в этом сумасшедшем мире! Отец — внук боевого танкиста, который дошел с боями до тех самых немецких земель, где теперь вкалывал на поденщине его наследник. Но самое печальное даже не это. В экипаже деда, по его рассказам, был грузин, механик-водитель, верный друг и боевой товарищ, звали его Автандил. Кацо погиб под Берлином, на пороге Победы, общей Победы и русских, и грузин. А теперь грузинская пуля упорно выискивает правнука русского танкиста Бурцева, в экипаже которого воевал грузин Автандил.

...Архип Малыгин горевал о старшем брате. В очередной раз Антон взял кредит. Банк — кабала. Но что делать? Жить надо. Надеялся на осень, думал рассчитаться. А лето выдалось мокрое, кислое. С урожаем пролетел — ни зерновых, ни картошки, ни овоща... Даже сена путного не накосил. Пришлось коров пустить под нож. Не расплатился, мало оказалось. Банк отобрал и трактор, и навесные орудия, что купил по весне. И все равно долг остался. Потом и дом под опись пошел. Жить в нем живут, но по сути дом-то уже не свой. Как приживалы ютятся...

Эх! — Шелег рубанул невидимой шашкой. — А страна-то своя? Ведь вся уже продана да заложена... — и снова рубанул, до того пылала душа.

2

Путь предстоял неблизкий, однако по раскладам дедов-командиров, которые вышли проводить питомцев, на исходный рубеж подразделение должно было выйти в срок. Ждать да догонять — хуже нет. Последняя команда, первые метры пути, и вот уже скрылись, растаяв в дымке, силуэты гостеприимного военного городка, и невеликую, что журавлиная вереница, колонну поглотило безбрежное российское пространство. Где проселками, где большаком, то мимо сельских погостов, то близ монастырей, которым отдавались поклоны, подразделение двигалось к цели.

Яблочный Спас благоухал плодами и крестными ходами. То же — на Успенье Богородицы. Крестные ходы, как ручейки, сливались в реки и текли к монастырям, заветным православным местам. Туда же устремлялись и наши ратники.

Один попутный крестный ход оказался особенно велик. Шли дети и взрослые, женщины и старики. Глаза их лучились верой и убежденностью. В поток крестного хода вливались новые живые ручейки, полня его русло. Тут шли старики-фронтовики, ветераны самой лютой войны. Хоть версту, хоть до того вон поворота, докуда хватит еще сил. Стучали костылями мужики-«афганцы» и парни, которые горели на таджикской границе, в Чечне, в Дагестане. Шли, глухо скрипя протезами и стуча палками-подпорками, ветераны Даманского, чехословацкого противостояния, вьетнамские и ангольские добровольцы... Много их было на

последнем русском веку — воинов, кто по приказу или голосу совести брал в руки оружие. Вот это и был воистину народный фронт — не чета лукавому спектаклю, который затеяли идеологи власти.

На каком-то рубеже этот ход был остановлен. Шествие, благословленное епархией, показалось подозрительным стражам порядка. Дорогу перегородили полицейскими «уазиками» и «КамАЗами». А «КамАЗы»-то оказались не простые, а «воронки». В такой стоймя можно затолкать человек шестьдесят, а то и поболе. Знать, забеспокоилась олигархическая верхушка, коли создала новый общественный транспорт. Так иронизировали остановленные богомольцы.

По-разному встречали крестный ход в городах и весях. Опасливо и отчужденно отражали хоругви и лики Спаса тонированные окна банков и разных ростовщическо-меняльных контор. В окнах новорусских особняков трепетали жалюзи, в тень бетонных заборов прятались угрюмые охранники, и даже цепные псы задавливали свою икотную злобу при явлении полноводного хода. Зато народ, простой деревенский и городской люд, встречал крестный ход поклонами и крестными знамениями.

* * *

Долго ли, коротко, но до цели осталось рукой подать. В сизой осенней дымке проступили силуэты Москвы. Здесь, на подступах к столице, подразделение, что вел сержант Смолин, встретилось с другими ратниками. И тогда открылось, что таких подразделений, сведенных волей двух бородатых генералов, собирается великое множество. Это передалось по цепочке. Одни с Севера, как они, — следом за журавлями. Другие — с Юга, встречь перелетным стаям. Третьи — с восхода, от солнца. Четвертые — с заката, встречь ему. Крестным путем и в великом множестве.

Где незримо, а где и явственно ратники обтекали столичные предместья, пересекали МКАД, Садовое кольцо. Одни встали округ Москвы на шести холмах, иные устремились к центру. Среди таких было и подразделение сержанта Смолина.

И вот они на краю Красной площади. За спиной — собор Василия Блаженного. Слева — Кремлевская стена и Спасская башня. Справа — Лобное место, давно не используемое. Против — Исторический музей, куда российская власть не захаживает...

Почему российские правители не учатся на уроках истории? Почему заставляют народ то и дело наступать на те же самые грабли, сберегая при этом свои медные лбы? Почему едва ли не главная их черта — верхоглядство?

Тем, кто стоит на краю Красной площади, есть о чем спросить у новых верховодов и есть за что предъявить счет их предшественникам.

Игорю Смолину требуется отчет за бездарный марш на Грозный и кровавую бойню, в которую верхогляды-верховоды бросили русских парней. Память заходится в крике, кружа над тем местом. Вот чадит, догорая, чья-то рука, подле — отсеченная голова. А вокруг враги. Скалятся, глумятся. Бородатый абрек пучит желтые глаза. Сними крест, не то хуже будет! Кинжал жалит яремную жилу. Струйка щекочет горло. Нет? Тогда разведи руки. И вот он — живой крест, распятие в стылом воздухе. Взмах тяжелого тесака — и летит в огонь отрубленная рука.

Его, Игоря, левая рука — это она без конца пылает в пламени памяти. А следом... Господи, помилуй! Спаси и сохрани! Дай сил снести муки! Троеперстие касается лба и живота... Не успеть... Душа взмывает безмолвной птицей. А крестик? Вот... Крестик, надетый крестной мамой, как завершение знамения. Руда из разъятой артерии срывает его, но он не пропадает, а падает в ладонь правой руки, и десница Игорева в последний миг сжимается в кулак, оберегая святыню...

Свой спрос и у Степана Бурцева, рядового миротворческого батальона в Южной Осетии. Почему не сработала дальняя разведка? Была ли таковая вообще? И если была, почему не известила, что танки тифлисского шизофреника выдвигаются на исходные позиции? И если известила, почему в верхах не приняли упреждающие меры? Почему тянули с решением? Почему так поздно пришла подмога? И за что грузинская снайперская пуля оборвала его, Степки Бурцева, девятнадцатилетнюю жизнь?..

Свой счет к Москве и у Ростислава Шелега. Донской рыбинспектор, гроза браконьеров, он направлен в дельту Волги, чтобы укротить осетровую мафию. С жуликами никаких компромиссов: вор должен сидеть в тюрьме. Штрафы, посадки, а в ответ — угрозы. Противостояние с бандитами, повязанными с Москвой, доходит до предела, пока не доносится команда «Пли!» Отсюда, из столицы, летит подлая команда, и шесть латунных пчел разрывают навылет казачью грудь. Заплакал на небесах старый казак Фрол. Его кудесные заговоры тут — увы! — бессильны. Не выдерживает удара сердце Таи. И вот уже кладбище и два гроба. И возле них ополовиненное семейство: близнята Тема и Тима. И вся жизнь...

Особый спрос к власти у подводника Малыгина. Архип Малыгин — гидроакустик АПЛ «Курск». Лодка на дне, она недвижима и безмолвна. В живых, похоже, только он. По шее что-то ползет. Божья коровка? На морском-то дне? Нет, это не коровка, это кровь. Она точится из ушей. Это неправильно. Уши должны не источать, а впитывать. Кто это сказал? Да батя! Кто же еще?! Еще в детстве, когда лечил от кори. Батя поэт, хотя и инженер. Уши должны впитывать звуки Мироздания — детский вздох, побудку сверчка, шелест крылышек стрекозы... Стрекоза саморезом ввинчивается в пространство, а на том саморезе висит пейзаж Божьего мира. То, что батя изрекал, помнится, значит, мозг не угас. Жив и слух, даром что из ушей точится кровь. О чем шипит в отдалении радио? Аккумуляторы сели, а оно шипит. Это не радио. Это он своим уникальным слухом напрямую улавливает радиоволны. Доносятся слова — вопросы и ответы. Пресс-конференция. Где-то там наверху, не иначе в преисподней, обсуждают причины гибели подлодки. Новый вопрос и следом ответ: «Она утонула». Какой бесстрастный голос! «Она утонула»... Да знаешь ли ты, как она утонула?! Душа не выдерживает. Он-то, гидроакустик, спец первого класса, знает, отчего... И разгневанная душа, замурованная в умирающем железе, вырывается наружу, дабы в урочный час — вот он и настал! — спросить о цене предательства...

И вот — Красная площадь. Рекогносцировка завершена. Слева — Спасская башня. Справа — Лобное место. Против — Исторический музей, куда власть не захаживает. А памятник кому? Обогнули постамент. Обернулись. Надо же! Минин и Пожарский. Козьма Минич и Дмитрий Михайлович. Их... бородачи — командиры! Деды!

Десница Минина вскинута в порыве. Туда, показывает он на Кремль. Пора брать дело Отечества в свои руки, стучит сердце Патриота и Гражданина. Здесь, в центре, образовалась черная дыра. Ее надо заполнить сердечной энергией. Этот сердечник — магнит невиданной мощи — взвихрит земное пространство, распахнувшееся от океана до океана, и центростремительная сила втянет в русское житие всех скитальцев родной земли — и вольных, и невольных. Встряхнет умных байбаков и иванов, не помнящих родства, напомнив притчу о блудном сыне и заветы отчины и дедины, дабы сердца их обратились к высшему предназначению русского человека — служению Отечеству, угодному Всевышнему, и тогда Россия — светлая, дарованная Господом Родина, вновь воспрянет, укрыв сенью своих простертых на полмира крыл всех своих возлюбленных чад. Вперед, сыны!

Звучит валторна. Над площадью взлетает встречный марш. А из тонкого мира в мир видимый доносится клич:

— А ты чего стоишь? Особого приглашения ждешь?! Али не видишь, что Родина-Мать на краю гибели?!



ВЛАДИМИР БЕРЯЗЕВ

В березовом храме отчизны...

* * *

Дно колодца и неба рядно,
И полет в золотом промежутке:
Словно тает в соломенной грудке
Соловьиного смеха зерно.

Любо-дорого, лепо-красно
В новобрачных прозрачных покоях.
Никнет ветер на чистых покосах,
Льется в озеро света вино...

Тихо пей все, что Богом дано,
Причащайся последнему счастью,
Благодати земной причащайся,
Завтра — поздно,
Потом — все равно.

Там — потом, даже днями темно,
Лихо там без любви и поруки...
Вон и листья от счастья и муки
Золотые ложатся на дно.

* * *

Мне горше горя и греха — той тьмы зияние сухое,
Где влагу трепета и зноя не вместят старые меха.

Я скуп, как хитромудрый жрец, что, пламень уподобя камню,
Усердно молится богам, но не верит в жертвенность сердец.

А ты без памяти щедра, ты без изъяна терпелива,
Смиренна, но не сиротлива — сиренью росною с утра...

Какою, Господи, ценой? Какой, не вышепчу какою,
Я заплатил за свет покоя, за пламя, ставшее виной.

Тот камень — накрепко со мной.

* * *

Пора на волю — пить боржом
Из солнечной купели!

Ручей ожил за гаражом,
Синичьей акапелле
Сосульки вторят в унисон,
Поют, звенят, дробятся,
И свод небесный невесом,
И нечего бояться...

В снегу, где смайлы рисовал,
Ты погляди, не мешкай,
Монетки вытаял овал —
Орлом, орлом, не решкой!

* * *

Прольется солнце сквозь окно седое.
Синица тонко стукнет по стеклу.
Ты выпростаешь тело молодое,
отыщешь рваный тапочек в углу,
халат набросишь,
                        весело и быстро
сготовишь завтрак,
                        сдунешь прядь со лба,
а после тронешь старенький транзистор,
и страстью — тяжкая органная мольба
охватит душу властно и раздольно...

Но телефон вернет тебя назад.
Ты скажешь: «Да». Усядешься спокойно,
услышишь голос, вспыхнешь... и невольно,
и торопливо, будто бы под взглядом,
вдруг — запахнешь распахнутый халат...

* * *

В березовом храме Отчизны,
Пред образом чистых небес,
Любимая, мы беззащитны,
Беспамятны чудно и без...
                        рассудны...
Все верно, родная!
Одна лишь надежда на то,
Что жизни арба заводная
Развалится до холодов.

Все тщетно: мы не отшутились,
Не спрятали, не погребли...
Ты помнишь ли, как очутились
В последнем Эдеме земли?

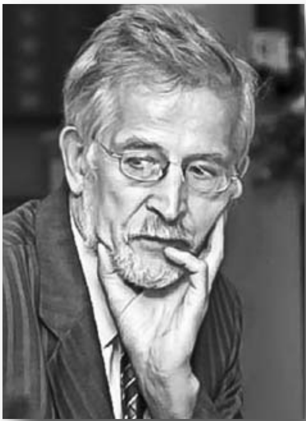
Бесстрашьем возвышено счастье!
А то сладострастье молвы —
Всего лишь молвы сладострастье
Пред горним огнем синевы.

Нам кары досрочно отсчитаны
За каплю счастливой вины.
Я знаю, что мы беззащитны!
Как взгляда распах — беззащитны.

Как правды лицо — беззащитны.
Наш ангел не прочит кончину,
Но шепчет, что мы —
спасены...

* * *

Где бы не правил лошадью,
Что бы не говорил,
Как бы над Красной Площадью
Голубем не парил,
Где бы не спал с любимою,
С кем бы водку не пил,
Как бы Неопалимую
Я Купину не любил,
Чем бы дитя не тешилось —
Китежем иль ножом,
Сколько б собак не вешалось —
Порознь иль гужом...
Сколько бы не загадывал
Слов над разрыв-травой,
Сколько бы не разглядывал
Небо над головой,
Все колея глубокая
Тащит меня туда,
Где чернотой пологою
След
залила
вода.



КАМИЛЬ ЗИГАНШИН

Боцман

Повесть

«Братья, образумьтесь!»

Изящные косули, спасаясь от въедливых кровососов, легкими скачками взбирались по уступам на гору. Они искали продуваемую ветром площадку для отдыха. Внизу тускло серебрились в отсветах дотлевавшего заката пенные бороды речных порогов.

Одна из каменистых террас, поросшая кустиками голубики, приглянулась старой оленихе. Косули осмотрелись, процеживая трепетными ноздрями струйки воздуха. Уверившись, что опасности нет, первым улегся беспечный молодняк. Олениха, поджав под себя ноги, легла последней.

Пережевывая бесконечную жвачку, животные то и дело настораживали длинные уши, вслушиваясь в таинственные шорохи. Однако усталые веки все чаще прикрывали выразительные глаза. Вскоре табунок чутко спал.

Рослый, мощного сложения самец рыси, прозванный окрестными звероловами за пышные бакенбарды на щеках Боцманом, не раз уже безуспешно выслеживавшими зверя, давно наблюдал за оленями и теперь бесшумной тенью соскользнул по склону на террасу.

Кот уже примерялся к прыжку, как вдруг лапами ощутил необычное подрагивание горы и услышал нарастающий гул. Косули вскочили, заметались по площадке с тревожным сиплым блеянием.

То ли порыв ветра, то ли всесокрушающее время подточили зыбкое равновесие, и чудом державшаяся на гребне отрога каменная громада качнулась и покатилась вниз, дробясь о скальные лбы, увлекая за собой все новые глыбы вперемешку со срезанными стволами деревьев.

Боцман шарахнулся в сторону, но край лавины зацепил его и швырнул вниз, вслед окровавленной туше косули.

Камнепад, дымясь серым облаком пыли, достиг подножия горы и, свалив прибрежные вязы, затих ощетинившимся валом на середине реки. Придавленный добела ошкуренным стволом осины, оглушенный кот лежал на краю обвальной мешанины. Грудную клетку у него зажало так плотно, что он едва дышал.

Временами к израненному зверю возвращалось сознание, и тогда начинала мучить жажда. Вода многоголосо шумела прямо под ним, но была недосягаема. Вечерняя прохлада только усилила страдания — на запах крови отовсюду со звоном слетались полчища комаров и мошки. Кот оказался погребенным под этой шелестящей крылатой массой. Тысячи безжалостных хоботков протискивались сквозь шерсть и впивались в его кожу. И без того битое камнями тело превратилось в сгусток нестерпимой боли и жгучей чесотки.

Задыхаясь от набившихся в нос и пасть насекомых, Боцман заходился в приступах раздирающего кашля. Ему еще повезло, что язык обвала вынес

его на середину реки: в сыром прибрежном лесу, где сосущей твари куда больше, он вряд ли пережил бы эту ночь.

...К исходу третьего дня долину накрыли черногрудые тучи. На ходу вызревая, они поливали кота живительной влагой. Прохладные струи уменьшили зуд, принесли некоторое облегчение. Пленник, насколько мог, повернул голову вбок и в таком неудобном положении ловил драгоценные капли.

Дождь шел всю ночь и все утро. Река вздулась, забурлила, валуны, уступая ее напору, со скрежетом поползли по неподатливому каменистому дну. Высокие буруны уже лизали коту задние лапы. Ужас подступавшей смерти охватил припечатанного к обломкам пленника.

Вершина ненавистной осины всплывала вместе с прибывающей водой, и ее тяжелый комель все сильнее плющил грудную клетку. Боцман уже почти испустил дух, когда лесина вдруг всплыла целиком и, вытягиваясь по течению, свезла его с камней на быстрину. Поток подхватил полуживого зверя и понес, то загоняя в пучину, то вышвыривая между коряг и ошкуренных стволов. Давясь и отфыркиваясь, кот ловил редкие мгновения для вдоха.

Впереди показался скалистый прижим с черными сотами промоин. Бедолагу несло прямо на отбойное место, туда, где река бесновалась в мощных водоворотах. Один из них захватил рысь и, прокрутив с десяток раз, затянул в заполненный водой карман. Кот, теряя сознание, отчаянно заскреб острыми когтями по отполированным стенкам и, зацепившись за удачно подвернувшуюся выемку, сумел выбраться на пологий уступ внутри грота.

Долго не мог отдышаться истерзанный зверь. Через полчаса прибывающая вода вновь настигла его и заставила отползти повыше. Здесь Боцман, не торопясь, вылизал раны шершавым мускулистым языком и осмотрелся. В конце мрачного мешка угадывался манящий свет.

Рысь приподнялась и, с трудом переставляя непослушные лапы, побрела по узкому каналу. Тьма с каждым шагом становилась все прозрачней, и вскоре Боцман оказался на дне конусообразного провала.

Над ним неумолчно шумела промытая, посвежевшая тайга. Ветер, стряхивая последние капли, уносил взлохмаченные пласты низких туч за гребень отрога. В синие разрывы хлынули веером золотистые снопы. Блаженно жмурясь, рысь долго грелась и обсыхала на солнцепеке. Затем подкрепилась сновавшими в траве мышами и вновь принялась вылизывать гноящиеся, горящие пульсирующей болью раны.

Инстинкт предков поднял ее и повел к примечательному овражку. Его вытянутое изголовье покрывали роднички с вонючей водой и жирным целебным илом. Грязевые ванны не замедлили сказаться: язвы и раны быстро затягивались нежной кожицей.

Добывал пропитание Боцман тут же, неподалеку от источника. Поначалу довольствовался пташками и мышами. А на третий день ему крупно повезло. Сопровождая взглядом промятый в податливом грунте свежий след, он заметил копошащуюся в кустах енотовидную собаку. Внезапно появившись перед ней, кот так напугал мохнатую толстуху, что та оцепенела. Придя в себя, попыталась бежать, но неловко оступилась на осклизлой колодине и, завалившись на бок, сжалась в пушистый ком, смиренно ожидая смерти.

Уже через неделю после первой грязевой ванны Боцман преобразился, вновь обрел присущий ему лоск. Надо сказать, что он был редким

великаном среди своих сородичей и в то же время стремительным, как ветер. В его грозном облике особенно выделялась характерная голова: округлая и короткомордая, рот и глаза в кайме светлых ободков. Слегка вздернутая после схватки с молодым медведем верхняя губа, щетинистые усы и вертикальные темные полосы у переносицы придавали коту свирепое, беспощадное выражение, несколько смягчаемое кокетливыми кисточками черных волос на кончиках подвижных ушей. В мерцающем блеске бронзово-желтых глаз угадывалась дикая и независимая натура.

Мягкий, густо-палевый с серебристым отливом, мех украшал рассыпанный по всему телу бурый крап. Передвигалась рысь на длинных, сильных ногах легко и грациозно, но главное, совершенно бесшумно, что вместе с острым зрением, молниеносной реакцией и острейшими когтями обеспечивало ей неизменный успех в охоте.

Как-то на исходе зимы, когда удлиняющиеся солнечные дни вдохнули первый трепет жизни в оцепеневший в спячке лес, и южный берег реки оброс тоненькими сосульками, Боцман застал возле недоеденного им зайца-беляка кошку с густыми длинными кисточками на ушах. Возмущенный кот резко зафыркал, что означало: «Как смеешь! Мое!»

Кисточка пригнула шею и отползла. Всем своим видом она как бы говорила: «Я, конечно, виновата. Но я так голодна!»

Боцман еще поворчал для порядка, но гнев его, постепенно слабея, вскоре и вовсе улетучился. Не спеша отрывая куски мяса, он то и дело с интересом поглядывал на незваную гостью. Насытившись, лег поодаль, милостиво разрешив Кисточке доесть зайца. Случай свел их вовремя — наступала пора свадеб.

Любовные утехи настроили кота на беспечный лад, и, когда ветер донес со дна долины чуть различимый звук, похожий на крик человека, он лишь ненадолго навострил уши. Млеющая в ожидании скорой весны тайга и безмятежный пересвист птах быстро заглушили тревогу. Однако спутница заволновалась и задвигала ушами.

Ветер дул приближающимся зверобоям в лицо, и, имей деревья густой летний наряд, они еще долго продвигались бы незамеченными, но в зимней обнаженности Кисточка заметила какое-то движение в просветах между стволов.

Насторожился и Боцман. Приглядевшись, он увидел, как через разреженный прогал проскочили разношерстные собаки с крутыми баранками хвостов и молча, рыская в подлеске, начали подниматься в гору. Сами по себе собаки пугали не больше, чем годовалые волки, но Боцман знал, что в тайге за ними всегда следует человек с тускло блестящей палкой. Встревоженные кошки побежали вверх, держась крутых склонов.

Тем временем свора вышла на их «горячий» след и, разразившись азартным лаем, ринулась в погоню. Кошки поначалу легко отрывались от преследователей на своих мохнатых лапах-снегоступах, но, непривычные к длительному бегу, быстро утомились.

Вязкие, выносливые лайки быстро сокращали разделявшее их расстояние и гнали уже «по-зрячему». Собаки теперь не лаяли, а, распаленные видом беглецов, захлебываясь, просто рыдали от страсти. Боцман знал, что они, так же как и волки, не умеют лазать по деревьям. Ища спасения, кот взлетел на огромную суковатую березу. Изрядно отставшая, задыхающаяся Кисточка, следуя его примеру, тоже взобралась на первое попавшееся дерево.

Появление запаренных хозяев собаки встретили невообразимыми прыжками и яростным клацаньем клыков на окруженную беглянку. Каждая из них стремилась убедить своего властелина в том, что именно она настигла и загнала свирепо шипящую добычу на развилку дерева и заслуживает в награду самый лучший кусок мяса.

Бежавший впереди охотник с рыжей бородой во все лицо устремил палку на Кисточку. Полыхнул язык пламени, грянул гром. Кошка взвыла от пронзившей грудь боли, рванулась было по стволу выше, но обмякшие лапы судорожно зацарапали пустоту, и она полетела вниз.

Боцман, увидев рыжебородого зверобоя, вскинувшего вороненую палку в его сторону, громадным прыжком сиганул на белую перину и под прикрытием густого пихтача ушел незамеченным. Иногда он оглядывался, надеясь увидеть бегущую следом Кисточку, но ему в морду неслись только удары грома. И невдомек было ему, что это добивали его подругу...

Удалившись на безопасное расстояние, кот залег в непролазном буреломе в ожидании спутницы, но она так и не появилась. С наступлением ночи он, покружив по лесу, вышел к тому месту, где их загнали на деревья собаки, и застыл в немом ужасе.

Лунный свет озарял неестественно вывернутое тело подруги, без головы и шкуры. Обнаженные мышцы с желтоватыми отметинами подкожного жира уже прихватило морозом. Вокруг на истоптанном снегу валялись обслюнявленные бумажные трубочки с едким запахом дыма. Они походили на белых, с черными головками, червей.

Боцман несколько минут вглядывался в обезображенную Кисточку. Затем повернул голову в ту сторону, куда ушли люди и собаки. Кот не умел плакать, но его пылающие зеленым огнем глаза застлал влажный туман. Он смертельно возненавидел Рыжебородого, поднявшего на них громовую палку, и противную, мерзкую вонь от белых «червей» на снегу.

После гибели подруги Боцман как-то сник. Все окружающее казалось ему теперь враждебным и неприветливым. Отрешившись от всего, кот часами угрюмо лежал на снегу. Прежде он так и жил — одиноким, мрачным отшельником, а с Кисточкой успел оттаять, привязаться к нежной спутнице. Но ее так быстро не стало...

Однажды он удачно поохотился на косулю. Полакомившись сочным, парным мясом, Боцман завалился на спину и, лениво разметав на траве лапы, стал кататься с боку на бок, то выгибаясь, то надолго замирая.

После трапезы хотелось пить. Кот оттащил остатки косули под буреломный отвал, почистил о сухостоину когти, с наслаждением потерся о бугристую кору и спустился, наконец, к горному ключу. Заходя в воду, вспугнул маленьких уток-чирков. Те улетели вниз по течению плотной, стремительной стайкой.

Утолив жажду, рысь укрылась от слепней под разлапистой елью. Нежась в прохладе, сытая и благодушная, она наблюдала, как вылетают из воды и с причмокиванием ловят насекомых шустрые хариусы, как по вороненой поверхности рассыпаются серебристыми молниями испуганные кем-то мальки. Внезапно откуда-то сверху легкой, прозрачной тенью неслышно соскользнула скопа. Слегка чиркнула по волнистой ряби переката, и в ее крючковатых когтях забился, сверкая перламутром, нерасторопный хариусенок.

Но недолго Боцман пребывал в блаженном состоянии. С того места, где лежала косуля, послышался шум: кто-то явно терзал недоеденную

тушу. Пришлый кот даже не соизволил поднять морды при появлении хозяина добычи, а только глянул исподлобья. Столь дерзкого поведения Боцман не мог стерпеть и яростно зашипел на наглеца. Тот в ответ разинул пасть, обнажив черные выкрошившиеся зубы.

Внимательно разглядев облезлого, с прогнувшейся спиной незнакомца, кот сообразил, что перед ним совершенно дряхлый старик.

Боцман хорошо знал закон тайги — прав сильнейший, но не мог унизить себя дракой с беззубым зверем. Он просто подошел к косуле с другой стороны, и коты, то и дело искоса поглядывая друг на друга, мирно потрапезничали. Вскоре пришелец насытился и, поблагодарив взглядом, удалился, а хозяин примостился подремать на выворотне. В это время к косуле, привлеченный запахом крови, приближался медведь.

Услышав сквозь сон оглушительный хруст мозговых костей, Боцман поначалу только облизывался, но довольное урчание косолапого обжоры, наконец, разбудило его. Во вспышке слепящего возмущения кот бесстрашно подскочил к грабителю и впился испепеляющим взглядом в крохотные медвежьи глазки. Напружинив лапы, он приготовился биться за свою добычу.

В ответ из широко разверзшейся пасти вырвались низкие громоподобные раскаты. Этот рев и мощные клиновидные клыки остудили праведный гнев кота: здравый смысл ему не был чужд. В бессильной ярости и обиде закружил он вокруг мародера, но, сознавая неоспоримое превосходство медведя в силе, отступил с притворным равнодушием.

Все лето Боцман провел в покое и достатке. Вольготная жизнь никем не нарушалась. Волки и медведи заставляли проявлять известную осторожность, но кот избегал лобовых столкновений. Впрочем, и те не искали встречи с ним. Каждый ходил своей дорогой, уважая права соседа.

В тайге лишь с людьми он никак не мог ужиться, хотя никогда не посягал на их интересы, а завидев, первым уступал дорогу. Эти существа всегда были агрессивны и при каждом удобном случае выпускали из своих железных палок разящий гром, к счастью, без ущерба для него.

Боцман мастерски ухитрялся не попадаться на глаза промысловикам, за что заслужил репутацию зверя-невидимки. В то же время, невзирая на печальный опыт, он не мог избавиться от присущего ему любопытства: люди манили его своей непостижимостью. По ночам кот спускался с гор то к одному, то к другому охотничьему логову и, выбрав место поукромней, подолгу наблюдал за загадочной жизнью двуногих.

Любил он ходить и по лыжному следу: ему было интересно знать, что делают охотники в его владениях. В один из таких обходов Боцман явственно уловил аппетитный запах. Неподалеку от лыжного следа под деревом парил в воздухе, слегка покачиваясь, здоровенный косой. Недоумению кота не было предела: чего это вдруг длинноухий кружится над снегом, словно птица? Коту не хотелось есть, но это его извечное любопытство...

Боцман прикинул: если встать на задние лапы, то до косого можно дотянуться. Мелкими семенящими шажками он приблизился к «летающему» зайцу и тут же отпрянул от внезапной боли: на левой передней лапе, повыше широкой ступни сомкнулись железные челюсти.

Человек, поставивший ловушку, был, конечно, искушенным в своем деле промысловиком, но он не учел, что Боцман намного превосходит силой своих собратьев. Уже через час капкан был оторван от поводка,

и рысь на трех лапах бежала прочь от страшного места, в сторону безжизненного поля каменных россыпей, под высокие скалистые вершины, куда охотники и собаки никогда не заходили. Ловушка с обрывком поводка цепко сидела на ноге, и ее тарелочка при каждом прыжке вызванивала о железную станину «тринь-дзинь, тринь-дзинь».

Добравшись до хаотичных нагромождений обломков скалы, Боцман забрался в пустоту между угловатых глыб. Здесь, в относительной безопасности, потрясенная и измученная рысь забылась тяжелым сном. К болезненной хватке железной пасти она притерпелась и спала на удивление долго. После сна происшедшее уже не казалось таким страшным, и кот вознамерился во что бы то ни стало избавиться от неудобной побрякушки — она саднила кость, а главное, мешала ходить.

Боцман попытался сесть, чтобы стянуть туго зажавшие лапу дуги, но пружина капкана застряла между камней. Превозмогая боль, кот задергал ногой. Капкан, сдирая шкуру, медленно сползал, но, достигнув широкой ступни, застрял. Тогда сметливый зверь потянул лапу на себя без рывков. Верхняя доля пружины, получив упор о камень, стала прижиматься к нижней, и чем сильнее тянул Боцман, тем слабее становилась стальная хватка. Наконец дуги раздвинулись настолько, что лапа выскользнула из тугих тисков.

После этого происшествия рысь, чтобы не стать жертвой новых хитростей двуногих, удалилась на непосещаемый зверобоями голец, державно господствовавший над окрестными вершинами, и, промышляя там куропаток, жила безбедно, несмотря на свирепствовавшие ветра и трескучие морозы.

Ниже беловерхой вершины, в ельниках, стекавших зеленой лавой по горным ложбинам, обитали маленькие безрогие олени — кабарожки. Коту порой удавалось полакомиться их суховатым, но нежным мясом.

Привыкнув к тому, что на Лысой горе снежный покров нарушается лишь следами крохотных копытец кабарги да набродами куропаток, он был крайне удивлен, когда увидел округлые вмятины рысьих следов. Дня два назад кошка — а это была именно кошка! — прошла по гребню кряжа в сторону холмистой долины.

Боцмана вдруг охватила неясная, сладостная истома. Покинув было след, он вернулся обратно и пошел по нему не останавливаясь, ступая точно в отпечатки лап самки. Прерывистая стежка привела на пологие увалы, где к ней присоединялись с разных сторон следы трех котов. В разгар ночи, по резким и страстным воплям, далеко слышным в тишине промороженной тайги, Боцман нашел всех четверых на лесистом скате. Завидев самку, он пришел в еще большее волнение.

Очаровательная кошечка в дымчато-серой шубке сразу определила в новичке надежного покровителя и сама подошла к нему, не дожидаясь от него любезностей, сопутствующих церемониалу ухаживания. Счастливый Боцман, будучи вообще-то весьма молчаливым существом, от избытка чувств время от времени издавал низкие протяжные вопли. Подруга вторила ему тихим грудным голосом. Эти любовные арии, по всей видимости, доставляющие удовольствие исполнителям, заставляли замирать в страхе всех обитателей тайги.

Во время затяжной свадьбы к восхитительной Кисе пытались приблизиться новые ухажеры, но Боцман никого не подпускал к своей возлюбленной. Для этого ему даже не было нужды вступать в драку: гро-

мадные размеры и свирепый взгляд отрезвляли претендентов в женихи лучше любой затрещины.

Конец зимы выдался снежным, пуржистым; весна — стылой, затяжной. Киса готовилась к окоту, а в тайге повсюду еще лежал сквасившийся, крупнозернистый снег. Ходила кошка осторожно и мало. Больше лежала у входа в низкую расселину и прислушивалась к толкотне котят, рвущихся из тесной утробы на волю. Они временами так буйствовали, что живот бугрился от ударов крохотных, но уже сильных лапок.

Боцман, не покинувший после любовных утех подругу, заботу о пропитании взял на себя. Оставив Кису в логове, он в очередной раз отправился на охоту. Дул тугой порывистый ветер. Ничто не говорило о весне. Только сугробы осели, да вокруг стволов протаяли ямистые лунки.

Идя наискосок к ветру, кот принюхивался к многослойному потоку запахов. Наконец он уловил то, что его интересовало: одна из струек принесла восхитительный аромат молодой лосихи.

Недолгие поиски привели его в непролазный ольшаник, на окраине которого виднелся снежный бугор, обрамленный сухими листьями и обрывками травы. Еще два шага — и из выбитого копытами углубления показалась бурая спина, кончики ушей.

Дремлет, не подозревает о смертельной опасности всегда чуткое животное: шум ветра заглушает шорох крадущихся шагов рыси. Длинный, упругий прыжок — и Боцман свалился на жертву как снег на голову. Запустив страшные когти в спину и бока, он вонзил клыки в шею. Густая, жесткая шерсть и толстая кожа помешали сразу добраться до становой жилы и шейных позвонков.

Лосиха выметнулась из убежища и, тараня грудью заросли тальника, выскочила на ноздреватый лед. Мотая головой, она кинулась к спасительной проплешине переката. Сиганув в полынью, опрокинулась на спину в расчете подтопить кота. Забурлила, вспенилась студеная вода. Заскрежетала под зверями галька. Хлынувшая в пасть и нос вода заставила Боцмана разомкнуть клыки. Лосиха вскочила на ноги. Громыхнув копытами по валунам, выпрыгнула на лед и помчалась вниз по руслу. Из глубоко прокушенной шеи хлестала пульсирующими струйками кровь. Достойно защищалась она и вышла победителем, но вместе с кровью покидали молодое тело силы. Все мельче шаг. И вот она, издав громкий, почти медвежий рев, упала на лед замертво.

Боцман вылизал испачканную шубу и подошел к туше. Налакавшись дымящейся крови, он привел к добыче и Кису. Знатная добыча надолго избавила супружескую чету от хлопот о пропитании. Тем не менее Боцман, как образцовый семьянин, к вечеру следующего дня опять отправился на охоту, с тем чтобы побаловать Кису свежениной. Подкараулив беляка, он заспешил к хозяйке.

Подходя к логову, кот услышал тонкий писк. «Это еще что за гости?» Приглядевшись, Боцман различил копошащиеся между лап супруги крохотные мохнатые комочки. Киса осторожно освободилась от них и жадно набросилась на теплую зайчатину. Малютки — а их было трое — без матери забеспокоились и завозились, неуклюже выпутываясь из переплетения лап, голов и коротких хвостиков.

Утолив голод, Киса подошла к Боцману и долго терлась лбом о заросшую бакенбардами щеку, выражая благодарность и безмерное материнское счастье, переполнявшее ее.

Крохотные наследники, необыкновенная нежность Кисы побуждали Боцмана к неутомимой охоте. Как-то, принеся в зубах еще живого беляка, он оставил его на площадке перед входом в расселину. Косой временами брыкался. Подросшие котята, в детских почти белых шубках, разминая длинные нескладные ноги, с восторженным урчанием выбежали и закрутились вокруг уползавшей добычи. Блестящие глазенки рысят впервые загорелись огнем настоящих хищников, но тут совсем некстати полил дождь. Холодные капли остудили воинственный пыл юных охотников, и они отступили в убежище.

Боцман накрыл продрогших детенышей мохнатыми лапами. Котята согрелись и задремали. Однако ненадолго. Быстро пустеющие желудки побудили перебраться под бок матери, каждый к своему любимому соску.

Сытость и тепло вновь вызвали у них желание порезвиться. Снаружи все крапал дождь. В таких случаях котята взбирались на отца, чье громадное туловище являло собой великолепную игровую площадку. Они прыгали, ползали, скакали по нему, с яростью трепали, а Боцман переносил потехи шалунов с родительской снисходительностью.

Мерзкая, хлябистая весна творила свое черное дело: тайга изо дня в день пустела, лишаясь своих обитателей. Наконец, сплошной войлок туч истончился, разошелся широкими голубыми разводами, открыв, впервые за весну, истомившееся в заточении теплое и яркое солнце.

Боцман с Кисой, задерганные требовательными воплями ослабевших котят, не дожидаясь сумерек, вышли на охоту вдвоем. Скоро они задавили костлявого беляка. Киса тут же на месте съела его почти целиком и поспешила к голодным детенышам.

Доев остатки, кот последовал за ней. Супруга металась почему-то перед входом в расселину. С надеждой глянув на Боцмана, она исчезла в логове. Тут же выбежала обратно и опять заметалась по площадке между кустов. Встревоженный отец заполз в убежище. Котят там не было. Не веря своим глазам, он обшарил все углы, но напрасно: рысята исчезли. Бедные родители обегали все окрестности, но не обнаружили ни единого следа, хоть как-то объяснявшего пропажу.

Многоопытный Боцман знал, что в период со времени таяния старого снега до появления нового охотники исчезают из тайги. Несколько месяцев ее обитатели живут спокойно. Обладатели железных палок словно дают им возможность вырастить потомство. И, тем не менее, он был склонен винить в пропаже детенышей именно людей.

У кошек не хватило сообразительности по одинокому перу беркута на площадке и клекоту на дальней скале догадаться об истинном виновнике исчезновения котят. А дело было так: оголодавшая, так же как и кошки, за долгое ненастье чета беркутов вылетела из гнезда в поисках корма для своих прожорливых птенцов. Паря над тайгой, беркут-отец издали заметил выбравшихся на солнышко котят. Он еще долго кружил в небе над пятачком перед логовом, пока не уверился по поведению несмышленышей, что они одни, без охраны родительских клыков. Беркут камнем пал на землю, поразив когтистыми лапами двух рысят и убив ударом клюва третьего.

Безрадостно протекало лето. Киса, особенно первые недели, заслышав звуки, даже отдаленно напоминающие голоса котят, очертя голову бросалась на поиски, а никого не найдя, подолгу с отсутствующим видом сидела на земле, сутуло вобрав в плечи округлую голову. Ничто

не интересовало ее в такие часы. Если Боцман настаивал, она послушно брела за ним, участвовала в охотах, но все это без желания и присущего ей прежде азарта.

Когда поздней осенью свора собак обнаружила их, Киса впервые не подчинилась Боцману и не последовала за ним в крутобокие сопки. Почти сразу, как заслышала погоню, вскарабкалась на первое попавшееся дерево и равнодушно наблюдала за бесновавшимися внизу лайками. Подоспевшие охотники почему-то не стали выпускать разящий гром из палок, а подвели на длинном шесте петлю из жесткой капроновой веревки и, улучив момент, затянули ее на передней лапе кошки. Затем стащили шипящую рысь на чуть припорошенную снегом землю, накинули сверху толстое ватное одеяло и, удерживая рогулинами, туго спеленали.

Боцман ночью спустился с горных отрогов и, не найдя подруги, по следам звероловов к утру вышел на окраину леса, обрывавшегося в сотне метров от береговой линии. Дальше, за рекой, на пологом увале виднелись безликие в предрассветной мгле жилища людей.

Оставаясь под прикрытием деревьев, кот послал призывный клич и через мгновение услышал в ответ радостный горловой вопль Кисы. Он доносился из середины первого ряда домов, примыкавших огородами и банями к реке. Обмениваясь резким вяканием, кошки вконец переполошили деревенских псов, и Боцман счел благоразумным не дразнить их больше. Тем более, что теперь он знал, где искать Кису...

Баба Галя, спускаясь к проруби за водой, подняла голову и неожиданно для себя увидела громадную рысь. Бросив ведра, она опрометью пустилась бежать к дому, всполошила соседей, и вскоре вся деревня гомонила о коварной рыси, которая напала на бабу Галю, но то ли промахнулась, то ли она успела надеть ей на голову железное ведро. Главное, баба Галя, слава богу, жива, а рысь осталась голодной и караулит на речке новую жертву. Кто посмелее, особенно мальчишки, ходили ватагой за огороды и глазели на дерзкого разбойника, стоящего на противоположном берегу реки с высоко поднятой головой.

Охотники с лайками уже неделю как разъехались по участкам — начался промысловый сезон. Охранять деревню остались одни бестолковые дворняги. Перепуганные бабки направились к местному зверолову Ивану Михайловичу Карпенко. Но он уехал в лесничество созваниваться с областной базой «Зооцентра», чтобы заказать машину для отправки отловленной рыси.

Когда женщины выходили из его избы, с реки донеслось громкое и резкое «Вау-у». Киса в ответ радостно откликнулась из сарая. Заскочив обратно в сени, бабье излило свой испуг и застарелое недовольство на хозяйку дома.

— Вот ловит твой рысей, медвежат, волчат, а звери-то, вишь, какие наглые, в отместку стали. Ни за водой сходить, ни детям покататься. Прошлый год медведица допекала, а ноне рысь...

— Занятие ваше нам всем на погибель, — добавила высокая старуха, — штраф на вас надо за такое.

— Оно верно, штрафом надо проучать, — охотно поддержали остальные.

— А ну вас к ляду, — отмахнулась хозяйка и ушла кормить скотину.

— Вот и толкуй с такой. Пошли, бабоньки, к Егору, он рысь стрельнет, не промахнется.

Смертельная опасность нависла над Боцманом. Он видел, как очередная ватага направилась через огороды к реке. Но насторожило его не столько приближение людей, как то, что у каждого из них в руках была громовая палка. Старики между тем вышли на обрывистый берег и стали целиться в рысь. Встревоженный Боцман, не оглядываясь, потрусил под защиту деревьев. Вокруг коротко прогудели шмели, и ступни ощутили резкие удары по промерзшей земле. Следом докатились раскаты грома.

Кот обернулся и успел даже разглядеть людей, окутанных клубами серо-желтого дыма, в этот миг его насквозь прожгла боль. Превозмогая ее, он огромными махами попытался достичь спасительно черневшего пихтача, но, не дотянув каких-то пять-шесть метров, рухнул в снег.

Мужики, постреляв для верности еще, перешли речку и окружили зверя. Вытянувшийся в последнем прыжке во весь рост, он казался особенно громадным.

— Это сам Боцман и есть. Отбегал наш великан, — не то с удовлетворением, не то с сожалением произнес дед Тимофей.

Восхищенно оглядывая богатую шубу и пробуя пальцами остроту кривых когтей, удачливые охотники задымили самокрутками. Самый старый в их компании дедушка Антон присел на корточки и, кряхтя, стал искать, куда угодила пуля.

— Навылет прошла, — заключил он и, отгибая шерсть, продемонстрировал кровоточащие с двух сторон раны.

— Ой, че это?! Мужики, тихо! Кажись, сердце тукает. Во-во. Еще раз. Так он живой!

Охотники вскинули ружья.

— Антон, отойди! Очухается, задерет когтищами. Отойди, тебе говорят. Вмиг упокоим.

— Да погодите. Совестно как-то... И хорош больно! Жалко красоту такую кончать. Давайте к Карпенко свезем. Можа, выходит да сдаст на свою звериную базу. Пущай городские нашим Боцманом полюбуются.

— Кончай, дед, канитель поповскую разводить. Добить и точка!

Тут донеслись звонкие голоса: «Ну что, убили?»

К охотникам подбежали запыхавшиеся пацаны.

— А кровищи-то!.. Мировой котяра!

Антон, воспользовавшись заминкой, снял ремень с ружья и туго обмотал задние лапы рыси. Мужикам ничего не оставалось, как помочь связать и передние.

— Ребята, давай быстро сани...

Лежа в теплом, рубленом сарае на душистом сене, Боцман ощутил легкое поглаживание. Вслед по шкуре пробегал приятный озноб. Чудилось, что рядом сидит Киса и ластится. От блаженства кот хрипло заурчал и попытался сладко потянуться, но пробитое тело откликнулось острой болью. Боцман открыл глаза. Кто-то темный сидел перед ним.

Человек!

Волна блаженства сменилась волной леденящего страха. Боцман попытался вскочить, чтобы защищаться, однако лапы были стянуты путами. Но даже не будь их, ослабленный большой потерей крови, он все равно не смог бы встать на ноги. От ощущения полной беспомощности его обуял ужас. Оскалив зубы и глухо зарокотав, он вжал голову в сено и исподлобья следил за каждым движением человека.

— Не бойся, дурачок, — успокаивал густой басовитый голос. — На, поешь. Тебе надо есть, иначе не поправишься, — человек протянул

нанизанный на прутик кусок мяса. Чтобы не стеснять зверя, он отодвинулся, и Боцман смог разглядеть двуногого. Ничем не примечательный. Скорее даже невзрачный. Только на лице, обрамленном мшистой рамкой седоватой бороды, выделялся длинный, крючковатый, похожий на клюв хищной птицы, нос. Но это сходство не придавало его лицу выражения враждебности. Напротив — делало добродушным. Ни одним движением человек не обнаруживал намерения причинить зло или боль.

— Ешь, ешь, дружок, ешь, — с этими словами Крючконос плавно приподнялся и, мягко ступая, вышел.

Боцман внимательно огляделся. Он лежал в бревенчатом логове с крохотным оконцем. Терпко пахло навозом. За дощатой перегородкой протяжно и шумно вздыхали корова и телка. Они, уже привычные к часто меняющимся грозным соседям, не обращали на рысь внимания: то и дело шуршали сеном в кормушке, постукивали копытами.

Повернув голову, кот чуть не уткнулся мордой в куски мяса, лежащие на доске. В горле першило от сухоты. Он осторожно взял было соблазнительный шмат в зубы, но недоверие к человеку перевесило: в последний момент раскрыл пасть, и мясо упало на подстилку.

С двуногими существами Боцман связывал только боль и смерть. Поэтому был несколько обескуражен поведением Крючконоса, но не сомневался в том, что и он скоро проявит свое коварство. От томительного ожидания бесславного финала к вечеру его трясло, как в лихорадке. Нервы и мускулы вибрировали, словно туго натянутые струны. Ослабленный перенапряжением и потерей крови, кот, в конце концов, забылся в тревожной дремоте, так и не притронувшись к еде.

Переделав домашние дела, Михалыч заглянул к пленнику. Увидев, что мясо не тронуто, укоризненно покачал головой.

— Так, брат, дело не пойдет. Так ты никогда не поднимешься. Надо, дружок, поесть, обязательно надо поесть, — и опять настойчиво протягивал мясо на кончике ветки.

Человек долго сидел с Боцманом. Говорил успокаивающим, завораживающим голосом, уверенно гладил по спине. Потом смазал раны на груди чем-то прохладным, пахнущим грязями таежной лечебницы. И опять этот странный человек не причинил ему боли. Напротив, его прикосновения были приятны.

Ночью, когда беспрестанное хлопание дверей и другие непонятные звуки стихли, Боцман с горечью вспоминал события последних дней. Мог ли он предположить, что жизнь столь круто переменится и он окажется во власти человека!

Внезапно совсем близко раздался призывный горловой вопль. У Боцмана даже дух занялся. Не может быть! Это же Киса! Кот откликнулся ликующим — «Вау!»

Подруга отозвалась не менее восторженно. От их переклички во дворе поднялся злобный лай, и рыси, дабы прекратить собачью брехню, умолкли.

У Боцмана все пело в груди: «Киса жива! Она где-то рядом». Но он так слаб, что не может не только прийти к ней на выручку, но даже самостоятельно встать на ноги. Надо срочно набираться сил.

В один из дней хозяйские псы, воспользовавшись тем, что дверь по недосмотру осталась открытой, проникли в сарай и набросились на связанного кота. Но Крючконос сердитыми окриками выгнал их, а особенно разбушевавшегося кобеля посадил на цепь.

Боцман был поражен — человек не только не позволил собакам растерзать его, а наоборот — защитил от заклятых врагов. Тщетно пытался кот разрешить эту загадку. Она была ему не под силу. С этого момента Боцман окончательно поверил Крючконосу, и отношение к людям у него перестало быть столь однозначным, как прежде. Он даже начал на свой лад делить людей на «добрых», вроде Крючконоса, и «злых», вроде Рыжебородого, убившего Кисточку. Понятливые лайки после хозяйской взбучки крепко усвоили, что рыси на их подворье — особы неприкосновенные. Но тем не менее не упускали случая порычать на кошек исподтишка.

Наконец, пришло время, когда Боцман сам поднялся на ноги.

— Замечательно! Какой ты молодец! — воскликнул Крючконос, увидев рысь стоящей на лапах. Лицо зверолова светилось неподдельной радостью. — Еще немного отъешься, и повезем тебя в город.

На дне холодных и бесстрастных для несведущего человека рысьих глаз Михалыч уловил отклик понимания.

Зверолов успел привязаться к Боцману. Много зверей прошло через его руки, но такого умницы он еще не встречал. Постоянно и подолгу разговаривая с ним, Михалыч чувствовал, как приоткрывается какая-то таинственная заслонка, и кот начинает понимать смысл его слов и жестов. А когда зверолов после трехдневной отлучки зашел в сарай проведать подопечного, то был удивлен тем, с какой демонстративной обидой отвернул от него голову гордый кот.

Пошел четырнадцатый день заточения. Кот совершенно оправился от ран и вновь обрел грозный вид. Хорошая форма подопечного вдохновляла Михалыча. Ему пора было заняться отловом соболей, но он не мог уйти в тайгу, пока не сдаст рысей. Оставлять же их под присмотром жены зверолов побаивался — все-таки хищники, мало ли что... Да и мяса на них не напасешься.

Зообаза с вывозом что-то медлила. Зверолов нервничал. Наконец пришла радиограмма. Из ее текста явствовало, что машина будет через день, но без клеток. Михалыч, поругивая далекое начальство, не мешкая отправился на пилораму договариваться насчет досок. Он торопился еще и потому, что надо было успеть зарезать бычка и, воспользовавшись оказией, повыгоднее сдать мясо в городскую столовую.

Вечером жена сообщила ему, что из тайги вышел Потап — его двоюродный брат. Жил он через дом, и зверолов решил сходить, чтобы узнать, не случилось ли что — вышел-то брат во внеурочное время. Обычно охотники появлялись в деревне лишь под самый Новый год, да и то дня на два — четыре.

Пока одевался, в дверь постучали, и в избу ввалился упредивший его Потап. Огненно-рыжая борода промысловика засияла при электрическом свете, словно хорошо надраенный медный котел.

— Братан, покажь котяру. Старик говорит, самого Боцмана пригрохнули.

Вооружившись фонариками, мужики вошли в сарай. Рысь под бесцеремонным прицелом слепящих «глаз» отвернула морду и угрожающе заворчала.

— Ну, хватит, Потап.

— Сдавать будешь?

— Да, послезавтра приедут.

Не попрощавшись, Потап зашагал к калитке. Хозяин недоуменным взглядом проводил его и, спохватившись, крикнул вдогонку:

— Чего из тайги так рано? Случилось что?

— Да так, дела, — неопределенно отмахнулся тот.

На следующий день Михалыч с конюхом привезли с пилорамы на санях большой щелястый ящик, сбитый из пахнущих смолой золотистых досок. Набросали в него сена и, не закрывая дверку, подтащили вплотную к сараю, в котором томилась Киса.

— Иди, иди, — негромко скомандовал ей зверолов. Кошка послушно перешла в клетку. Удивленный конюх не удержался:

— Эва! Убей меня деревом! Как это ты таку власть заимел?

— Через ласку. Ежели принуждать, силой гнуть свое, зверь только злобится.

Клетку закрыли, передвинули по снегу к сараю, в котором держали Боцмана, и оставили там. Зверолов, жалея любимца, не стал перегонять его в холодный, тесный ящик до прихода машины. Тем более что процедура эта не должна отнять много времени — Боцман наверняка сам забежит к подруге. Главное, не дать Кисе выскочить из клетки. Для этого Михалыч приготовил и тут же примерил, вставляя в щели между досок на разной высоте, несколько жердей.

Когда он занимался этим, хлопнула калитка, и подошли два соседских мужика. Боцман слышал, как вывели из хлева бычка, как он коротко взревел, и вскоре по двору загулял запах горячей крови, парного мяса. Крючконос на бегу заглянул к нему и бросил теплой свеженины.

Калитка захлопала чаще. Раздавались все новые и новые голоса, теперь большей частью женские. Кот прислушивался к оживлению с нарастающей тревогой, но как ни силился, не мог связать воедино значение происходящих событий.

Между тем, из дома полились приятные переливчатые звуки. Это деревенский музыкант заиграл на гармошке. Рысь впервые слушала музыку. Она ласкала слух и завораживала даже сильнее, чем говор Крючконоса. Потом в доме затопали, красиво многоголосо завыли. Кто-то вышел на улицу, остановился у клетки с Кисой.

— У, зверюга! — Человек смачно сплюнул. — Не мне ты попалась! Где тут твой недобитый кавалер?

Дверь к Боцману приоткрылась. С шипением вспыхнул огонек, и кот увидел рыжебородое лицо убийцы Кисточки. Пахнуло едким запахом белых, с черной головкой «червей». Этот запах-воспоминание перекосил морду Боцмана гримасой ненависти. Кот ощерился, издал громогласное «Ваа-у-уу». Обнажившиеся клыки блеснули, словно стальные пики.

При виде разъяренного дьявола мужество мгновенно оставило пьяного Потапа, или, как его за глаза звали деревенские, Жилу. Он пулей вылетел из сарая, схватил увесистый кол, подпиравший дверь клетки с Кисой, и, вернувшись обратно, жестоко отходил им привязанного Боцмана.

Полный мстительного упоения, Рыжебородый вышел во двор и увидел рысь. С воплем: «Оторвалась, спасайтесь!» — он влетел в избу. Там поднялся невообразимый гвалт. Перепуганный Жила, пуча глаза, выкрикивал что-то нечленораздельное. Его переспрашивали, но в шуме ничего нельзя было разобрать.

Боцман, обозленный унижением и чувством бессилия перед обидчиком, в ярости рвал ремень. Толстая брезентовая лента не поддавалась. Снова и снова опрокидывала она кота на спину. Ошейник врезался

в горло, перехватывал дыхание. Рванувшись с разгону в очередной раз, Боцман услышал треск и с лету ударился головой в стену. В следующее мгновенье кот вскочил и сиганул в распахнутую дверь. На поленнице дров он увидел Кису, отбивавшуюся от наседавших собак. Осатаневший Боцман сшиб с ног ближнюю, на ходу сомкнул челюсти на загривке второй и, не обращая внимания на остальных, бросился с подругой через задворки к вздымавшемуся за рекой спасительному лесу. Не прошло и трех минут, как они оказались в родной стихии.

Ни собаки, ни хмельные хозяева не решились на ночную погоню. Высыпав во двор, они с суеверным страхом, с примесью невольного восхищения, ахали и грозили кулаком в черноту ночи: «Ну погодите, бестии!»

Забравшись высоко в горы, Боцман с Кисой, наконец, прилегли на снежную перину среди высоченных кедров. Тесно прижавшись друг к другу, они тихо уркали от счастья встречи и обретенной свободы. Им приветливо светила огромная, в темных вмятинах луна.

В разгар промыслового сезона бригада звероловов вновь наткнулась на следы неразлучной пары. Заслышав брехню лаек, рыси стронулись с лежки и пошли самыми непроходимыми кручами к истоку ручья. Но Михалыч, досконально изучивший рысьи повадки, все это предвидел. Он пустил по следу лишь трех собак и одного охотника, а сам с напарником и шестью собаками поджидал кошек на узком переходе, который им сложно было миновать.

Расчеты бригадира оправдались. Рыси вышли чуть ниже места засады. Промысловики спустили зверовых псов. Разразившись оглушительным лаем, они вмиг окружили ошеломленных беглецов.

Здоровенный кобель бросился на Кису, целя прямо в горло. Боцман рванулся наперерез и едва успел подставить плечо. Опрокинув пса, он распорол ему когтями брюхо. Визжа от боли, собака покатилась с кручи. Воспользовавшись заминкой, кот устрашающе шипящим комом пролетел сквозь свору и помчался огромными махами навстречу двуногим. Лайки кинулись за ним, а сметливая Киса припустила во весь дух в противоположную сторону.

Увидев мчащуюся прямо на них огромную рысь, звероловы оторопели. Напарник Крючконоса вскинул ружье. Боцман слышал, как Крючконос что-то крикнул ему, и громовая палка опустилась. Тем временем, кот пронесся мимо побелевшего как снег Крючконоса и скрылся в ельнике.

Бригадир окликнул лаек, но две самые азартные и отчаянные не подчинились и продолжили погоню. Определив по лаю, что собак мало, Боцман затаился за вывороченным деревом. Вымахнув преследователям наперерез, он оторвал ухо одной и разодрал бок у другой собаки. Поджав хвосты, посрамленные псы пустились наутек.

К исходу дня Боцман разыскал Кису. Они опять были вместе.

Однажды, выйдя на место пересечения своей постоянной тропы с лыжной колеей, звери уловили соблазнительный запах рябчика, а вскоре увидели его самого, неподвижно сидящего на снегу. Боцману показалось, что от лыжни к птице ведут аккуратно присыпанные лунки. Эти намеки на след наполнили его сердце смутным предчувствием. Все говорило о том, что рябчика лучше не трогать, обойти стороной.

Кот дал понять о своих опасениях подруге, но ей нестерпимо хотелось есть, и она не устояла перед возможностью полакомиться белым мясом лесной курочки.

Несколько минут спустя по ее телу разлился и стал проникать во все органы жгучий огонь. Киса, тяжело дыша, присела. Эта перемена подтвердила предчувствия Боцмана. Он принялся нетерпеливо подталкивать подругу, побуждая ее быстрее покинуть подозрительное место. Но бедняжка вдруг повалилась на снег и забилась в частых и резких судорогах. Напряженная спина прогнулась дугой. Невидимая чудовищная сила все загибала и загибала ее так, что голова в конце концов коснулась хребта и затрещал позвоночник. Из пасти Кисы потянулись тягучие струйки слюны, зрачки глаз неестественно расширились, лапы мелко задрожали.

Кот с тревогой наблюдал за страданиями подруги, не представляя, чем ей помочь. В какой-то миг Боцман заметил, что ее страдальческий взор, устремленный до этого на него, как бы опрокинулся и стал погружаться в глубь широко раскрытых зрачков.

Киса давно стихла, а Боцман все сидел рядом, все тыкался в ее плечо, тщетно пытаясь поднять и увести отлежаться в безопасном месте. Когда тело кошки стало таким же холодным, как снег, кот, наконец, понял, что его спутница никогда уже больше не встанет. И он ушел... Один...

На снегу осталась лежать очередная жертва, принесенная «старшим братьям» только для того, чтобы со временем украсить женские плечи красивой рысьей накидкой.

Потеряв Кису, Боцман впал в состояние тупого отчаяния. Он ничего не ел: тоска убила в нем голод. Через несколько дней он вернулся к Кисе, но на том месте, где оставил ее, обнаружил лишь ненавистных вонючих «червей».

* * *

Прошло четыре года. Все это время обладатель поседевших бакенбардов жил угрюмым отшельником. Впрочем, если бы он и пожелал обзавестись подругой, то не смог бы исполнить это желание по причине того, что все его соплеменницы за это время были либо отравлены, либо отловлены. Более того, Боцман остался вообще одним-единственным представителем своего вида в этом совсем недавно богатом рысями крае.

От собак и охотников ему не стало житья. Тайга, казалось, была пронизана смертью. Одинокий громадный кот сделался желанной добычей всех окрестных зверобоев.

Их профессиональное честолюбие будоражили легенды о подвигах знаменитого кота, о его дьявольской хитрости и изворотливости. Эта репутация была вполне заслуженной: частые стычки со зверобоями многому научили Боцмана.

Но более всего стремление добыть исполинского кота подогревалось тем, что рысьи шкуры в эти годы вошли в моду и цена на них невероятно подскочила. А красивый окрас и размеры шубы Боцмана, в любом случае, сулили немалые барыши. Тем более что вездесущие скупщики забирались в самые отдаленные деревушки и назначали баснословное вознаграждение.

К тому же любому охотнику лестно было заиметь и череп Боцмана. Величина отпечатков лап кота давала уверенность в получении за такой череп не только золотой медали на выставке охотничьих трофеев, но и побитие всех прежних рекордов.

«Сябрына»: Беларусь — Россия

Боцману, конечно, было невдомек, обладателем каких опасных достоинств является он, но то, что люди настойчиво добиваются его смерти, для него было совершенно очевидно. Их жестокая воля неотступно преследовала его.

Постоянное напряжение развило его наблюдательность до совершенства, а великолепная память помогала не повторять ошибок. Благодаря этому ему удавалось оставлять с носом самых бывалых промысловиков.

Временами на Боцмана накатывала тоска по обществу себе подобных. Она нарастала, терзала сердце. И тогда кот, дабы заглушить муки одиночества, принимался вопить так, что обитатели окрестных гнезд и нор цепенели от ужаса.

Очередной сезон близился к завершению, но никто из зверобоев так и не смог вынуть из котомки и развернуть перед скупщиком роскошную шубу Боцмана.

С приближением весны вместе со снегом таяли и надежды на знатную добычу. А тут еще случилась невиданная, затяжная оттепель. Надулись нежные пуховички на прибрежных ивах. Ледяная броня на набухающей реке разошлась в трещинах и стала пористой, белой, как сахар. Похоже было, что лед тронется намного раньше срока.

В эти дни из самого центра прибыл лихой скупщик и назначил за шкуру рыси такую цену, что все аж присвистнули. Наиболее азартные и охочие до денег и обещанной выпивки зверобои решили объединиться и провести облаву артельно. Тому, кто добудет кота, — половину цены, а остальное — поровну на всех участников.

Обсудив, кто и где в последний раз видел следы рыси, определили район поисков, а в тайге по свежим отпечаткам на расквашенном снегу сузили его до одной столообразной лесистой горы. Она тянулась перпендикулярно к реке и обрывалась в нее неприступной стеной.

Разбившись на пять групп, зверобои охватили гору вытянутым полукругом и, пересидев ночь в укромных ложбинах, поутру, в назначенный час, стали подниматься по снежной хляби.

Боцман отдыхал на стволе поваленного кедра, когда дремотную тишину глухолесья нарушили сначала гортанные крики ворон, а затем внезапно возникший сплошной треск. Зародившись в глубине леса, он быстро перемещался к нему. Чуткое ухо уловило сквозь него отдаленный лай опостылевших собак. Кот встрепенулся. Вскоре мимо пронеслось, круша все на своем пути, стадо лосей. Лай приближался. Боцман тяжко вздохнул. За долгую зиму в нем успела накопиться усталость от этих вечных бегов. Эх, быстрее бы сошел снег! Тогда на несколько месяцев придет долгожданный покой. Но до этих времен еще надо дожить. Кот без лишней суеты и паники размашисто припустил на противоположный склон.

Уходил спокойно, так как был уверен, что узколапым псам по расквашенному снегу не настичь его. Но вскоре услышал встречный лай. Что делать?! Боцман побежал по косой, с намерением найти проход у дальней оконечности горы. Однако и там уже мельтешили в просветах леса собаки, за ними — люди.

Кот в смятении остановился. Один вырвавшийся вперед двуногий находился на расстоянии чуть более ста метров. Тренированный глаз охотника засек притаившуюся в кустах рысь, и он вскинул громовую палку. Боцман сразу признал стрелка — это был Рыжебородый. Быстрее прочь!

К отступлению оставался единственный путь — река, но как спуститься к ней по отвесной стене? В это время вокруг прожужжал густой рой смертоносных «ос». Две из них впились в тело, третья резанула левое ухо. Стреляй зверобой пулей — несдобровать бы нашему коту, но Жила, не отличаясь меткостью, предпочитал бить снопом картечи. Однако в этот раз расстояние оказалось слишком велико для убойного выстрела. Хотя две картечины и вошли в зад, они застряли в мякоти, не причинив большого вреда.

Боцман отпрыгнул за ствол дерева. Что делать? Набатный лай и выстрелы приближались. Сейчас кольцо сомкнется, и тогда...

Кот рванул изо всех сил к реке — своей последней надежде.

До обрыва коту оставалось совсем немного, когда не только сзади, но и слева, и справа стали выкатываться пестрыми комьями собаки с крутыми серпами хвостов. Увидев уходящую к реке рысь, крайние ринулись наперехват.

Боцман растерянно остановился: его лишали последнего шанса на спасение. Тайгу заливал лай сомкнувших кольцо собак. За их спинами громыхали выстрелы, и слышались радостные возгласы людей, свист пуль. Все, не уйти! Обложили намертво. Кот увидел свою смерть так ясно, что шерсть на загривке поднялась дыбом, но сдаваться было не в его правилах.

Выбирая удобную для боя позицию, он вскочил было на макушку протаявшего из-под снега выворотня, лежащего у края глубокого провала, как вдруг, еще не понимая смысла своего безрассудства, неожиданно скатился, обдираясь о сучья стволов, нагроможденных на крутых скатах, вниз к устью огромной воронки.

Лайки, порывисто дыша, обступили край провала и злорадно облаивали запертую в ловушке рысь.

Подбежавшие зверобои открыли стрельбу по светлым пятнам на дне провала, пока кто-то не образумил:

— Всю шкуру продырявим. Если жив еще, и так никуда не денется.

Эти слова прозвучали сигналом. Все расслабились. Азарт спал. Охотники вдруг почувствовали, как устали и проголодались.

— Чаю бы попить — во рту пересохло, мочи нет, — предложил заросший щетиной Глеб.

— Да что чай?! Кота надо брать!

— Вот уж не скажи. Чай — вещь стоящая. Чай — он живость дает. Подойдешь, бывало, с поклажей к горе. Посмотришь — ни в жисть не одолеть. Костерок наладишь, крепкого запашистого заваришь, выпьешь кружку и взберешься на одном дыхании до самой верхотуры, — убедительно возразил самый пожилой из них, Тихон.

— Верно говоришь. Коту теперича некуда деться. Не грех и чайком побаловаться, со вчерашнего на сухомятке.

Промысловики сноровисто развели костерок и, подвесив котелок со снегом, обменивались, как обычно, впечатлениями. Больше всех заливался рыжий Потап:

— Видали, как удачно я зацепил. След сразу закровил. Знать, сильно — вишь, аж в яму свалился, окаянный. Сколько промышляю, а такой хитрющей твари не встречал. Ведь столько лет нас дурачил.

— Ну, ноне ему крышка!

— Все же жалко, мужики. Как-то без рыси в тайге не того... Вроде как пресновато. Это все равно что щи без капусты или баня без пара.

— Да народятся еще, али понавезут откуда, расселят, ежели нужный зверь.

Почаевничав, возбужденные предвкушением знатной добычи, охотники спустили на веревках по более свободному от валежин склону провала Потапа и Глеба.

Достигнув дна воронки, те долго и осторожно лазили с ружьями наизготовку по шатающимся угловатым глыбам, заглядывали под них и, наконец, чертыхаясь, поднялись с помощью поджидавших товарищей наверх.

— Ушла, гадина. Под камнями лаз. Из него дует, как из трубы. Похоже, где-то выход есть, — оправдываясь, бормотал Глеб. Потап же, ни слова не говоря, направился к береговой круче.

Боцман за это время уже проник по узкому каналу в сумрачный грот и в конце горловины увидел реку, подтопленный вешней водой противоположный берег. Внизу, в метре от края кармана, плыли, скрежеща по изодранному прижиму, разнокалиберные льдины.

Все правильно. Кота не обмануло смутно мелькнувшее воспоминание: это был тот самый провал, через который он спасся во время наводнения много лет назад.

Не теряя времени, рысь наметила подходящую льдину и, когда та поравнялась с черным зевом, спрыгнула на нее. Льдина упруго качнулась и понеслась по отбойной стремнине.

Но что это за резкий, дробный стук вокруг? Острый осколок льда больно ударил по нижней губе, и тут уже сверху донесся грохот. Оглянувшись, Боцман увидел на отвесной береговой круче человека с громовой палкой. Рыжебородый! Нигде нет от него спасения!

Не дожидаясь очередного выстрела, кот сиганул в студеный поток. Вода разошлась двумя искрящимися крыльями брызг. Боцман на пару секунд погрузился в изумрудную толщу, а вынырнув, поплыл рядом с льдиной.

Рысь еще несколько раз слышала резкие хлопки, булькающий посев по воде, щелчки по льду, но и они вскоре прекратились. Коченея, Боцман вскарабкался обратно на лед и обернулся. Силуэт охотника мелькнул последний раз и исчез за надвинувшимся отрогом. Река, делая крутой поворот, уже затягивала Боцмана в теснину длинного ущелья, туда, где его караулил каскад бесноватых порогов.

Долго они швыряли, вертели его под рев будто бы тысячи медведей. Оглохший кот распластался на льдистой броне, намертво вцепившись в нее когтями-крючьями. Несколько раз льдину дыбило, окатывало мощными водяными валами. Но, видно, судьба решила и на этот раз пощадить рысь.

Наконец, ревучий поток прорезал гранитный кряж, и изрядно потрепанная посудина успокоилась. Ее то и дело проносило вблизи берега, и Боцман не раз уже порывался покинуть хрупкое, ненадежное пристанище, но все недоставало смелости. Наконец, он успел запрыгнуть на угловатую, подрагивающую от бешеного напора плотину и, не задерживаясь, проскакал по напряженно вибрирующим обломкам на берег.

На земле он зябко отряхнулся. Шатаясь от усталости, поднялся на мысок и повалился на подсохший пятачок земли. «Неужели несчастья этого сумасшедшего дня остались позади, и теперь можно спокойно полежать?!» — говорили все еще не верящие в спасение его глаза.

Боцману следовало, наверное, завопить что есть мочи, дабы известить тайгу о своем невероятном избавлении от гибели, но бедный кот не то что вопля, даже стона не в состоянии был издать. Ноющая боль в задней части тела напомнила о метком выстреле Рыжебородого. Вылизав зад, Боцман обнаружил две ранки. «Ничего, бегать можно, а к боли притерплюсь», — примерно так оценил свое положение несокрушимый кот.

Опасаясь преследования, Боцман отступил в каменные дебри высоких гольцов. Здесь еще властвовали морозы, и чахлые деревья поутру наряжались в густые шубы из искристого куржака.

Ни зайцы, ни косули не обитали в этих суровых местах. Боцману пришлось довольствоваться одними белыми куропатками. Но они, непуганые и доверчивые, с каждым днем становились все осторожней, и кот вскоре был вынужден откочевать в средний пояс гор.

Раны не заживали, а, наоборот, воспалились до такой степени, что задние ноги отказывались служить. Боцман с каждым днем хирел. Все свои несчастья искалеченный кот связывал с человеком и его паскудными прислужниками — собаками. Когда он вспоминал о них, в нем разгоралась жажда мести. Это по их милости он лишен радости настоящей охоты и сейчас голодает, хотя повсюду бегает и летает желанная дичь. Увы, она теперь недоступна ему.

От плохой и скудной пищи Боцман стал похож на облезлую, запаршивевшую кошку. Ребра от худобы выпирали, словно согнутые весенним паводком ивовые прутья. Угловатый таз и острые лопатки горбами торчали из-под вытершейся шкуры. Молодецкие бакенбарды совсем обвисли и имели вид пожухлой травы. Пустой желудок разрывали болезненные спазмы.

Чувство голода временами было столь острым и нестерпимым, что кот принимался глодать кору и откусывать, словно заяц, верхушки веточек. Но не такая пища нужна была ему. Организм жаждал мяса.

Иссохший, похожий на мумию, Боцман тем не менее и тут приспособился. Смирив гордыню, он стал неотступно следовать на безопасном расстоянии за добычливой стаей волков и перебиваться скудными объедками от их пиршеств.

Рано начавшаяся, но затянувшаяся весна наконец-то вступила в свои права. Снег второй раз за эту весну сползал с южных склонов прямо на глазах. Вновь вспенились, загремели притихшие было речки. В каждом, даже самом крохотном, распадке залопотали ручейки, проклюнулась и резко пошла в рост трава.

Больной кот безошибочно находил на склонах сопок растения, изгоняющие хворь. Поедая их, он стал поправляться и набираться сил. Зарубцевавшиеся раны, правда, еще беспокоили, но уже не пульсирующей острой болью, а непродолжительными ноющими приступами.

Боцман опять охотился, не зная промаха. Точность прыжков и сила челюстей не оставляли намеченной жертве никаких надежд. Озлобленность угасала. Совсем недавно каждая его клетка требовала мщения за перенесенные страдания и несчастья. Теперь это чувство вытеснялось наслаждением от вернувшихся сил и сопричастности ликованию расцветавшей под лучами щедрого солнца тайги. Тем более что настала та благодатная пора, когда запах двуногих надолго выветривается из нее. Кот без опаски спустился с гор и поселился в долине Главной реки, где водились косули, да и зайцев здесь было заметно больше.

Как-то, дождавшись темноты, Боцман стал подниматься в поисках пропитания по долине ключа. Пройдя от устья шагов двести, он уперся в едва заметную даже вблизи преграду — туго натянутую капроновую сетку. Перегораживая весь распадок, она оставляла узкий проход лишь возле отвесного склона.

Ученый всякими уловками людей кот надолго замер, прислушиваясь и принюхиваясь, а когда решил, что опасности нет, осторожно шмыгнул в открытый проход. Но не успел он сделать и трех шагов, как сбоку громыхнуло, и его оглушил удар по голове. Когда Боцман пришел в себя, то почуял в воздухе запах пороховой гари. Опять эти люди! И летом не стало спасения от них.

Его спасло то, что самострел настораживался в расчете на часто проходивших здесь оленей. Пуля лишь скользнула по затылку, срезав полоску шкуры.

Медленно накапливающаяся усталость от постоянного, назойливого преследования человеком должна была в конце концов вылиться либо в беспощадную месть, либо в поиск недоступной для людей глухомани. Покладистый, уравновешенный Боцман выбрал второй путь и двинулся на северо-восток, в лесные дебри, не тронутые опустошительными пожарами.

Пройдя морщинистое нагорье и перевалив через безжизненную громаду Главного хребта, Боцман начал спускаться по серым сланцевым уступам высокой гряды в неведомый доселе край. Кота давно мучила жажда, и, наконец, он услышал шум падающей воды.

Мощный ключ бугристым фонтаном бил прямо из щели между скальными плитами. Пробежав совсем немного, вода плавленым серебром срывалась вниз и летела в сиянии радужной пыли, медленно разделяясь в воздухе на сверкающие гроздья.

Налакавшись прозрачной как слеза влаги, рысь спустилась в обширную маристую равнину, обрамленную зубцами далеких гор, и сразу попала в буйные заросли травы, такие густые и высокие, что они скрыли длинноногого кота целиком. Пройдя их, он углубился в тесную, перестойную чащу. Процеженные густыми ветвями пучки солнечных лучей едва освещали проходы между сучкастых стволов елей и пихт, обвешанных косматыми бородами лишайника.

В этом непроницаемом, насыщенном влагой, несмотря на двухмесячную сушь, лесу царила мертвая тишина. Застоявшийся воздух был насквозь пропитан гнилостными испарениями. На земле повсюду валялись трухлявые стволы, обомшелые сучья. Между ними поблескивали черные оконца затхлой воды.

Расступаясь, чащоба открывала непролазные болотины с густой сетью озерков, разделенных мшистыми перемычками. По ним Боцман перебирался до очередной лесистой гривы. Здесь, на открытых пятачках, подсушенный мох хрупко проминался, и лапы утопали в нем, будто в молодом промороженном снегу.

Кот все шел и шел к неведомой цели, обходя по гривкам вязкие трясины. Редкий зверь заходил сюда — каждый неверно сделанный шаг сулил стать последним: бездонная топь цепко хватала и засасывала неосторожных в свою утробу. А если кто и забредал в эти гиблые, бесприютные места, то старался как можно быстрее выбраться и уйти в горы.

Боцман же, упорно придерживаясь выбранного курса, пересекал очередную, несчетную гриву, как вдруг деревья поредели и за широ-

кой марью с тонкоствольным редколесьем его взору открылся массив высоких останцев чисто-белого цвета. Под их усеченными вершинами, спускаясь по террасам, контрастно зеленели вкрапления леса.

В центре торжественно возвышалась главная и когда-то, должно быть, весьма высокая гора, распавшаяся со временем на несколько близко стоящих столбов причудливой формы. Перейдя марь, Боцман решил обследовать иссеченные временем скалы.

На покатом приступке у одной из них он обнаружил покосившееся бревенчатое логово людей, укрытое от посторонних взоров неподвижно дремавшими на солнцепеке разлапистыми кедрами. Плоская земляная крыша топорщилась опрятными елочками, запустившими корни в толстые, полуистлевшие плахи перекрытия. В углу над тем местом, где когда-то была печь или очаг, крыша и вовсе обвалилась. Стены обросли мшистым ковром, особенно густым понизу. Из оконного проема настороженно выглядывала чахлая березка.

Между бронзовых стволов были перекинуты почерневшие от времени жерди. С одной из них свисали на ржавых цепях железки. От ветра они раскачивались и тягуче позванивали. Возле покосившейся двери белели остатки скелета собаки с полусгнившим ошейником вокруг шейных позвонков.

Ветер выносил из логова странный, незнакомый запах. Он смущал, тревожил Боцмана, и хотя его разбирало любопытство, интуиция подсказала о таящейся в этом запахе угрозе. Постояв немного, кот оставил становище людей и стал подниматься по лесистому проему между известковых столбов. Он разделял их как бы на две группы. Откуда-то сверху, прыгая по камням, вызванивал ручеек. На деревьях виднелись заплывшие задиры. Кот принял их за медвежьи метки, но это были старые затесы, сделанные топором.

Изъеденные ветрами и дождями белые столбы имели многочисленные уступы, карнизы, тесные проходы, которые рыси обожают и лазают по ним с особым удовольствием. И сейчас, запрыгнув на огромный ребристый обломок, Боцман перебрался на узкий карниз, змеей опоясывающий самый внушительный столб-башню. Поднимаясь по нему, он достиг небольшой террасы, покрытой белыми валунами и скудными пучками жесткой травы. Тут же, под скальным козырьком, похожим на загнутое крыло, чернел лаз. Войдя в него, кот оказался в сухой пещере. Ее дно устилали невесть как попавшие сюда листья, мох. Справа возвышался настил из грубо обтесанных плах с грудой шкур поверх. Слева в нише стояли черные доски, тускло мерцавшие в полумраке золотистыми и красными мазками. Из глубины пещеры шел противный, всегда таящий угрозу запах железа. Чтобы не искушать судьбу, Боцман вернулся на террасу и, прыгая с уступа на уступ, взобрался на вершину горной цитадели.

Вокруг нее во все стороны простирались поля топких марей, непролазные буреломные крепи, разделенные зеркалами болотин. Все это обрамляли цепи синих гор. За ними, где-то далеко на западе осталось поселение ненавистных ему охотников. Битый жизнью Боцман вздохнул свободно, всей грудью — необозримая глушь вселяла покой.

Новое пристанище, надежно защищенное от людей самой природой, было тем, к чему так упорно шел он как бы по подсказке из глубины поколений. Кот удовлетворенно почесал грудь когтистой лапой и лег

подремать. Упрямая складка на лбу расправилась, на морде заблуждало подобие улыбки.

Несколько дней ушло на обследование новых владений. Вскоре Боцман убедился, что здесь он не пропадет: дичь была в изобилии.

Кот перестал бродяжничать и все время держался Белых скал. Утолив за время ночной охоты голод, он забирался на неприступные столбы и часами лежал там, сладко жмурясь на припеке.

Неумолимое время неутомимо отсчитывало: день-ночь, день-ночь... Лето хирело. Деревья тронула кисть осени. Следом ударили заморозки, опять приближалась та снежная пора, когда тайга заполняется охотниками, с утра до вечера гремят выстрелы, надрываются собаки.

Кот опасался, что и бревенчатое логово под скалой недолго будет пустовать. Он не знал, да и не мог знать о том, что покой Белых скал защищают не столько топкие и непролазные дебри. Они зимой не преграда, сколько дурная слава, прочно закрепившаяся за этим местом с незапамятных времен.

Людская молва гласила, что в этих скалах обитают злые духи, охраняемые кровожадной стаей волков-оборотней. В награду за верную службу духи заманивают в скалы путников и отдают их на растерзание оборотням. Поэтому даже бывалые охотники остерегались сюда забредать.

Девятнадцатая для Боцмана зима пересекла границу самой длинной ночи, и настала пора сильных морозов. За месяцы, проведенные в Белых скалах, кот стал забывать свои прежние страхи и беды и медленно выходил из постоянно напряженного состояния. Ограниченные пределы каменного острова уже не устраивали его, и он стал спускаться на впадину, забираясь с каждой вылазкой все дальше и дальше. Благо, топи промерзли, а буреломы занесло снегом.

Наконец, настал день, когда след ночного бродяги достиг складчатых отрогов, за которыми дыбились изрезанные ущельями горы, такие громадные после Белых скал, что у Боцмана даже дух захватило. Легко поднявшись на первый предгорный увал, он остановился пораженный: перед ним тянулась бесконечная двойная колея — след зимних ног человека.

Настороженно прислушиваясь, кот окинул взглядом тайгу: спокойно кормится на березе стайка рябчиков; весело шныряет сойка. Ничто не говорило о близости двуногих.

Боцман помнил, как легко и приятно ходить по плотно накатанной колее: снег на ней не проминается и не рассыпается, но он не забыл, какую смертельную опасность может таить эта коварная тропа, и, несмотря на усталость, благоразумно перепрыгнул через лыжню и пошел дальше в избранном направлении по целине.

Не обнаружив в горах ничего примечательного, он повернул обратно. Когда приблизился к парному следу уже в новом месте, то чуть не наступил на белого «червя» с вонючей черной головкой. Так же пахло возле ободранной охотниками Кисточки! От этого воспоминания приглушенная и, казалось, забытая ненависть к людям вновь ожила и зашевелилась в сердце Боцмана.

Он пошел вдоль следа на достаточном расстоянии и вскоре увидел большую снежную кочку с куском мяса в углублении. Кот знал, что это привлекательное сооружение — западня, поэтому поспешил удалиться. На гребне увала его внимание привлекли резкие удары. Они неслись со стороны ключа. Подойдя поближе, кот увидел логово двуногих. Боцман

затаился и стал наблюдать. Вот дверь распахнулась, и показался человек. Спускаясь к ключу, он скрылся из виду. Когда же вновь появился из-под берегового обрыва с охапкой дров, изумлению Боцмана не было предела: он узнал в охотнике своего заклятого врага — Рыжебородого. Того самого, кто убил Кисточку, жестоко истязал его самого. Волна ярости, нарастая с каждой минутой, охватила рысь.

Рыжебородый еще несколько раз выходил и заходил обратно в логово. Потом из трубы с напором повалили клубы дыма. Боцман тем временем углядел свернувшегося под большим навесом черного с белыми пятнами пса и вознамерился прикончить его, но опыт подсказывал, что сейчас не лучшее время для исполнения этой затеи: месть лучше вершить в метель, скрывающую все следы.

Путано-петляющим следом он вернулся в Белые скалы и не покидал их, пока внутренний барометр не подал ему сигнал: ночью снегопад!

Когда Боцман подобрался к стану промысловика, уже стемнело, а на тайгу обрушились первые снежные заряды. Над логовом метались в дыму недолговечные «красные мухи». Собака лежала на своем месте и, казалось, спала. Но, как только кот подкрался на расстояние прыжка, она приподняла морду, и их взгляды скрестились. Пес оглушительно залаял, хлопнула дверь, громыхнул выстрел.

Перепуганный Боцман поспешил раствориться в белой кутерьме. Происшедшее не обескуражило его, а еще раз напомнило, что успех сопутствует терпеливым.

В следующий визит кот был осмотрительней и выжидал подходящего момента, зарывшись в снег до глубокой ночи. Неслышно ступая лапами, опушенными густой, жесткой шерстью, он невидимой тенью приблизился к собаке вплотную. На этот раз она едва успела испустить предсмертный вопль.

Утром хозяин долго звал, искал пса, пока не обнаружил его застывшего под толщей обильно выпавшего снега. Тридцать лет охотился Жила, но вот так, прямо у зимовья, лайка погибла у него впервые.

«В тайге всякое бывает, — рассудил он. — Но почему пса-то не съели?» — шевельнулась в голове беспокойная мысль.

Прошло дней десять, и у Боцмана опять появилось желание досадить Рыжебородому. Теперь он положил глаз на строение, возвышавшееся поодаль от стоянки на четырех гладких столбах. Оно напоминало логово охотника, только было раза в три меньше.

Кот попытался взобраться на лабаз по столбу, но безуспешно: мешала жестяная «юбка» в его верхней части. Остальные три столба тоже были опоясаны тонким металлом. Боцман не растерялся: залез на стоящее поблизости дерево, прошел по ветке и спрыгнул прямо на крышу лабаза. Затем через прогал между крышей и стенкой протиснулся внутрь.

Все это время его дразнил и будоражил запах, заставлявший забыть всякую осмотрительность: из лабаза пахло ненавистными лисами. Найдя их, Боцман с остервенением набросился и разодрал в клочья рыжие шубы с пышными хвостами. Затем та же участь постигла стянутые в пачки шкурки зайцев и белок. Вонючих норок, колонков и соболей брезгливый кот не тронул. Зато распотрошил коробки с хрупкими длинными палочками и тускло поблескивающими мелкими камушками. Разодрав куль с искристыми кристалликами, переключился на мешки с белым, похожим на пыль, марким порошком. Куски мороженой лосятины не тронул: был сыт.

Завершив погром, удовлетворенный зверь соскочил вниз и умчался в свою цитадель под прикрытием пурги, свободно разгулявшейся на открытом пространстве мари.

Жила проснулся поздно. Уже светало. Непогодь стихла, но снега успело надуть до середины окошка. Поразмыслив, промысловик решил сделать передых: прежние следы замело, а новых еще нет. Зверьки отлеживаются, ждут, пока снег осядет, уплотнится.

Растянувшись на шкурах, он укрылся ватным одеялом и, закурив махорку, стал с удовольствием прикидывать: сколько заработает в этом сезоне и как нынче распорядится выручкой. Уже одиннадцать лет он промышляет на этом участке, и всегда с фартом: пушнины хватало и для плана, и для скупщиков еще столько же, а иной сезон и поболе оставалось.

Прежде эти угодья пустовали. Все отказывались от них. Говорили, что рядом с рекой куда удобней: продукты и снаряжение до ледостава прямо на лодке можно завозить, по горам не надо таскать. На самом же деле мужики страшились близости поганого места. Как-то, еще до войны, пытался промышлять здесь один отчаянный, да так и сгинул бесследно.

Сойдясь с пройдохой-скупщиком, Потап быстро сообразил, что сулит левая сверхплановая пушнина, но на прежнем участке взять ее было трудно и к тому же опасно: то и дело заходят соседи, да и охотовед за сезон раза два обязательно нагрянет с проверкой. Пораскинув мозгами, он сказал сам себе: «Или пан, или пропал — рискну! — и добавил для успокоения: — Бог не выдаст — рысь не съест».

Новые охотничьи угодья в первый же сезон превзошли все ожидания. Через пять лет оборотистый деляга устроил ему в городе кооперативную квартиру. Правда, и ободрал он Жилу тогда до последнего хвостика, но квартира того стоила. Потом организовал самую дорогую модель «Жигулей». А вот с подземным гаражом сперва осечка вышла, но и это дело недавно поправилось. И теперь Жила, вот уже второй год, собирался рассчитаться с госпромхозом и пожить, наконец, в свое удовольствие, но каждый раз надвигались все новые и новые расходы, и приходилось опять тащиться в тайгу на промысел. Да и жалко было бросать хорошо обустроенные путики. К главной охотничьей магистрали — реке — Жила давно прорубил, расчистил тропу и по ней с осени на лошадях завозил все необходимое для жизни и промысла.

Время близилось к обеду. Потап, поеживаясь, встал. Настрогал щепы от смоляка. Затопил печь, продавил в ведре корочку льда, налил в кастрюлю воды и поставил ее на плиту рядом с чайником. Потом, расчистив площадку у двери зимовья, прокопал траншею к лабазу.

Забравшись наверх по приставной лестнице, он окаменел: пушнина — труды многих дней — была превращена в лохмотья, пересыпанные мукой, сахаром и гречкой.

«Как же так! Откуда такая напасть на мою голову?» — убито прошептал он.

Разбирая остатки пушнины, Жила немного успокоился. Самое ценное — соболя, норки, а главное, личный заказ скупщика — три выдры, были целы.

«Кто мог так напакостить? — ломал голову промысловик. — Зверю по столбам сюда не влезть. Разве что медведь, но тот спит, да и лабаз не разрушен. Неужели волки-оборотни?» — вспотев от этой мысли, он с опаской посмотрел в сторону Белых скал.

С этого дня в Жилу вселился суеверный, почти панический страх. Из зимовья не то что на промысел, даже за дровами или водой он выходил неохотно, с трудом преодолевая гнет кошмарных сцен, разыгрываемых воспаленным воображением. Ходил по лыжне, постоянно озираясь. Всюду: и в древесных наростах, и в причудливых изгибах стволов, и в разросшихся кустах — ему чудились затаившиеся оборотни. Он изводил заряды в любой подозрительный силуэт, на любое едва заметное движение, любой сомнительный звук. Страх все усиливался, не отпуская ни на минуту. В конце концов, доведенный до отчаяния, Жила наметил завершающие обходы, чтобы снять ловушки, рассторожить пасти. Начал с нижнего путика.

Шел тяжело, весь словно скованный ожиданием беды. Ружье не выпускал ни на секунду. Даже добычу из ловушки ухитрялся вынимать одной рукой и, как привороженный, все поглядывал на Белые скалы, уверенный, что беда нагрянет именно оттуда.

А когда налетел и завыл в дуплах ураганный ветер, он уже не сомневался в неотвратимости расплаты за покушение на покой этих мест. Черные деревья, казалось, задвигались, угрожающе скрипя, замахали ветвями-лапами. Напряженное состояние последних дней достигло предела. Жила совершенно потерял самообладание. В этот момент одна улежавшаяся снежная глыба, сорвавшись с толстого сука, пронеслась прямо перед его носом и чуть не выбила из рук ружье. Охотник сжался от ужаса. Попятившись, прилип спиной к стволу и, широко раскрыв глаза, оцепенело уставился на разлохмаченный шлейф дыма. Вид быстро несущихся со стороны ключа черных клубов медленно выводил Жилу из прострации. Когда до него, наконец, дошло, что может так дымить, он, позабыв обо всем, помчался к стану. На бегу пытался вспомнить, хорошо ли закрыл поддувало, убрал ли от печки смолистые щепки. Весь мокрый взлетел на гребень, откуда хорошо видно зимушку, и — о ужас! — на ее месте бесновался красный венец пламени.

Жила, с разрывающим нутро воем, упал на снег и забился в истерике. Он был сражен не столько видом полыхавшей зимушки (черт с ней — все равно больше не охотиться), сколько сознанием того, что вот так глупо сгорели все его труды. Остерегаясь повторного налета на лабаз, Жила перенес пухлые связки пушнины в зимовье...

Рысь, во время очередного визита к Рыжебородому, обнаружила на месте его логова черный круг земли с покореженной железной печкой посередине да обледенелую топанину следов. От нее уходила одинокая парная колея.

Ни весной, ни летом никто не нарушал покоя и великолепия здешних мест. Боцман вольно жил в царстве Белых скал, ощущая себя самой важной частью этого светлого, прекрасного мира. Иногда он проходил по главной тропе Рыжебородого и с удовольствием отмечал, что она потихоньку зарастает и освежается лишь оленьими да медвежьими следами.

Как-то в один из душных июльских дней кот блаженно посапывал на обдуваемой ветерком вершине останца и не видел, что разбросанные по горизонту мрачные тучи сошлись в обнимку, незаметно пожирая небесную синь. По мере приближения к Белым скалам они проседали от зреющей в них грозной силы все ниже и ниже.

Проснувшись, кот заметил перемену в погоде и, поскольку мокнуть не хотел, припустил к сухому логову. Но налетевшая тугим шквалом

гроза догнала и накрыла его водяной завесой. Слепящий излом молнии с оглушительным треском вонзился в каменный шпиль совсем рядом. Перепуганный кот сиганул вниз. Прямо перед ним в угловатый валун вошел еще более мощный разряд. Вскоре молнии, скрещиваясь, забили со всех сторон почти беспрестанно. От их грохота, казалось, скалы заходили ходуном.

Кот, вздрагивая от каждого удара и почти оглохнув от раскатистых разрядов, судорожно заметался по залитым потоками воды глыбам. Поскользнувшись, он угодил в узкий разлом, а когда выкарабкивался из него наверх, вспышка нестерпимо белого света обожгла глаза, и он провалился в черноту.

Очнувшись, Боцман открыл глаза, но непроницаемый мрак не рассеялся, хотя кот явственно ощущал на себе ласковые лучи солнца. «Как же так? Солнце светит, а вокруг такая тьма, какой и ночью не бывает?» Кот поднялся и попытался идти, но тут же ткнулся носом во что-то твердое. Недоуменно пошарив лапой, он обнаружил впереди себя каменную стену. Попробовал обойти ее, но куда бы он ни пошел, всюду упирался в камни. Бедняжка остановился в растерянности. Такого с ним еще не бывало. Стало очевидным, что во время грозы с его глазами что-то произошло, и теперь ему предстоит жить во мраке вечной ночи.

Сидя на шершавой плите, он никак не мог взять в толк, в каком месте Белых скал находится. Вслушиваясь в доносящиеся звуки, кот уловил внизу гул ожившего после ливня ручья, невдалеке перешептывались густые гривы кедра. Таких ориентиров в Белых скалах хоть отбавляй. И тут до его слуха донесся металлический перезвон. Это раскачивались ветром железки у покинутого людьми логова.

Теперь Боцман сориентировался, где он, и, осторожно «осматривая» лапой путь, через проем выбрался на тропу, по которой ходил сотни раз. Здесь он помнил каждый кустик, каждый поворот, каждую валежину. Убедившись, что память не подводит и вовремя предупреждает о преградах, кот несколько приободрился и зашагал быстрее.

Напившись из ручья, лег в траву. Лежал долго. Отрывистые картины всплывали в памяти и мелькали перед его мысленным взором одна за другой. Безжалостная судьба не щадила его с первых дней появления на свет. Зубами и когтями выбирался он из любых переделок и наперекор всему продолжал крепко стоять на ногах. Жизнь, а точнее, люди редко давали ему передышку. Вновь и вновь они безжалостно прогоняли его сквозь череду непрерывных испытаний, но он, все более закаляясь, неизменно выходил победителем. И вот сейчас, когда в его тяжелой судьбе все образовалось наилучшим образом, — такой жестокий удар! Как жить незрячему? Как охотиться? Даже мыши, и те — недоступная теперь добыча.

Рядом устроили разноголосую перекличку железки: «Тринь-тринь-дзинь». Этот мелодичный звон неожиданно породил дикую, сумасшедшую идею: Крючконос! Добрый Крючконос! Он вернул ему жизнь много лет назад. Он не поднял на него громом разящую палку в тайге! И он наверняка сумеет выручить его и сейчас.

Эта отчаянная надежда захватила кота. После непродолжительных сомнений он решительно встал и, отыскав на ощупь тропку, тянущуюся к заброшенным владениям Рыжебородого, отправился в трудный путь.

По зеленому покрову топкой мари Боцман брел медленно, с особой предусмотрительностью — знал, что по обе стороны тропы разброса-

ны коварные зыбуны. Несмотря на чуткий шаг, зверь часто спотыкался, поскальзывался, но, к счастью, все падения завершались благополучно. К вечеру кот добрался до подножья гор и перешел на тропу промысловика.

Пасшиеся в устье первого распадка олени, увидев рысь, встрепенулись, но она, к их изумлению, почему-то прошла мимо, не задерживаясь. Недоверчивая олениха еще долго поглядывала вслед, но коту было не до них. Он был целиком подчинен стремлению добраться до Крючконоса и вернуться с его помощью из мира тьмы в мир света.

Шел Боцман долго. Путь, который прежде преодолевал за трое суток, затянулся. Тем более что, не имея возможности подкрепляться, он быстро утомлялся и часто останавливался для отдыха.

То и дело устремляя невидящий взор в сторону селения и постоянно принюхиваясь, прислушиваясь, кот, наконец, подошел к месту, где тропа круто спускалась к речному перекату. Похрустывая галькой, он преодолел его и взобрался на береговой взлобок. Теперь надо пройти по выпасу с обкусанными кустами до одинокой, широко разросшейся на приволье, белоногой березы. Все верно, вот и она — шелестит нежной листвой. Боцман даже вздохнул от облегчения: отсюда уже совсем близко до логова Крючконоса.

Войдя в деревню, кот слышал, как из дворов выбегают собаки, но он неустрашимо продвигался вперед, гордо вскинув голову, обрамленную седыми бакенбардами. Громадная рысь шествовала в окружении лаек с таким видом, словно совершала рядовой обход своих владений. Справа, страшась собственной смелости, заливисто тявкая, вынеслась кривоногая дворняжка. Остальные собаки шли сзади молча, словно понимая, что тут что-то не так и не время сотрясать воздух пустой брехней.

Раздались изумленные возгласы, испуганные крики. Боцман напряженно вслушивался в них в надежде выделить голос Крючконоса. Вот и знакомый бухающий лай соседского кобеля, сидящего на цепи.

Кот не мог видеть, как распахнулось окно в доме его давнего недруга, как Рыжебородый вскинул ружье и поймал в узкую прорезь прицела убойное место, как прокуренный палец привычно лег на спусковой крючок...



ДМИТРИЙ МИЗГУЛИН

Не исчезнуть буднично и просто

* * *

Лето на исходе, на излете,
Чайки пролетают не спеша.
Я плыву на белом теплоходе
По зеленым водам Иртыша.

Чтобы побывать в Тобольском граде,
Что хранит величие страны,
Там, где ждет меня мой друг Аркадий,
Собиратель русской старины.

Мы в кремле. И прямо перед нами
Ширь земли — куда ни бросишь взгляд,
В небе — вперемешку с облаками
Купола ажурные летят.

Вот она, сибирская столица
Воинов, монахов, каторжан.
Я всмотрюсь в задумчивые лица
Нынешних тобольских горожан.

Обопрусь на белый теплый камень,
Посмотрю в синеющую высь...
Господи, а что же сталось с нами,
Отчего мы быстро так сдались?

Уступили напрочь супостатам
Земли, небо, помыслы и сны,
Позабыли времена и даты
Прошлого величия страны.

Исчезаем буднично и просто
С высоты небесной — в никуда,
Оставляем храмы и погосты,
Покидаем села, города...

Что ж теперь. Теперь — сажать деревья,
Ну и пусть нам больше здесь не жить,

Будет липа в вымершей деревне
С тополем по-русски говорить.

И глаза усталые закроя,
Буду слышать в жизни неземной,
Как шумит весеннею листвою
Дерево, посаженное мной.

* * *

Судьба помотала немало,
В каких только не был местах,
Полжизни прошло на вокзалах,
Полжизни — в аэропортах.

Урчат недовольно турбины,
Колеса на стыках стучат.
Немые просторы чужбины
По волнам неистово мчат.

Не чувствуя жали и боли,
Отринув усталости страх,
То лесом, то морем, то полем
В остывших паришь небесах.

Летя сквозь ночные метели,
Неистово Богу молись,
Чтоб мимо спасительной цели
В беспамятстве не пронестись...

* * *

А перед Богом все равны,
Он всем дарует понемногу:
Кому-то — в царство полстраны,
Кому-то — посох и дорогу.

Кому — сума, кому — казна,
Кому-то — лучшая из женщин,
Но тот, кто здесь имел сполна,
На небесах получит меньше.

В тумане зыбком жизни край
И твердь последнего причала.
Не плачься и не унывай,
Что на земле досталось мало.

Исправно Господу молись,
Оставь пустые разговоры,
Смотри, уже отверзла высь
Свои бескрайние просторы.

* * *

А по жизни все всегда в начале,
И повсюду — Божья благодать,
И о чем вчера переживали,
Нынче и не стоит вспоминать.

Все пройдет. Точнее, все промчится,
Все Господь устроит по судьбе,
И все то, что в жизни не случится,
Стало быть, не надобно тебе.

И опять сверкает солнце ясно,
И сияют звезды и луна,
Не кляни судьбу свою напрасно,
Все тебе отмерено сполна.



АЛЕКСАНДР СЕМЕНОВ

Зной

Рассказ

В последний раз дождь окропил степную землю на Троицу, и с тех пор высохло, выцвело небо, ни капли не уронило. Спозаранку из-за лысой покатой горы взмоет ввысь огненным китайским драконом солнце, нависнет над деревней и раскалится добела. Серебристые ковыли и те никнут под палящими лучами. Людям не в диковину такая сухмень — привычны к знойному лету, но к концу июля возроптали и самые терпеливые. За что наказанье Господне? Чахнет картошка, выгорают сенокосы, на тощие хлеба глазам смотреть больно. Речушка за околицей едва перекатывается по камням до запруды, устроенной ребятней в зарослях краснотала. А ниже и вовсе пересохла, неживая вода едва проблескивает в глубоких ямах. Всему живому в опаленной жаром степи и она — отрада. Всяк к ней, спасительной, нынче стремится: и птица летучая, и зверь бегучий, и гад ползучий. Одна речка оживляет безбрежное волнистое полотно: каменистые, поблекшие маньчжурские сопки плавно перетекают в широкие распадки, усеянные соляными разводами высохших озер. Стеклянное марево зыбко дрожит, колышется над очерствелой землей — что на недалекую чужбину, что на родную сторонку.

В деревне дом Шишмаревых из всех других выделяется: на косогоре стоит и собой улицу замыкает. Видное и ладное место подыскали ему хозяева. Весной хлынут талые воды по склонам, а дому как с гуся вода, только плетень и подмоют. А на великую сушь колодец есть — большая в этих местах редкость. Видать, в том месте из глубины пробивается на поверхность чистый ключик. Но напоить досыта может лишь одну семью. На еду Шишмаревым его воды хватает, а на огород, на баню и другие какие нужды — пользуются привозной, взятой с водокачки, жесткой и безвкусной.

Хорош дом. Три окна, обряженные резными наличниками, смотрят сквозь черемуховый лист на улицу. Всю деревенскую жизнь видят, а свою скрывают. Василию Шишмареву, хозяину, он от отца достался, а тому — от родителя, посланного сюда утвердить казачье поселение. Век отстоял и еще на один хватит. Крепки серебряного цвета бревна, прокаленные солнцем и морозом. Каким его дед срубил, таким дом и остался. Всего и отличия, что года три назад поменял Василий покоробившееся лиственничное дранье на шифер. До сих пор не может привыкнуть к новой крыше — ненадежной кажется.

У крепких высоких ворот прилажена чуть сбоку скамейка с резной спинкой — причуда хозяина. Да вот только сидеть на ней стало некому. А бывало, приходилось табуретки выносить, как соберутся вечерком бабы посудачить, мужики — покурить. Очень уж приятный вид открывается отсюда, с косогора, на родную деревню. Нынче лишь маленький лысый пятачок у скамьи сохранился — затянула все кругом гусиная трава, раньше вытаптываемая множе-

ством ног. Теперь редко кто мимо палисада проходит, да и то с оглядкой. Беда подселилась к Шишмаревым.

В полдень катит по пыльной улице на черном велосипеде почтальонка Катерина, то к одному, то к другому подворью подвернет, не слезая с седелки, сунет в ящик газетку иль конверт, оттолкнется рукой от забора и дальше катит. До косогора доехав, уронила велосипед на обочине, сбросила похудевшую сумку и торопко побежала вверх по тропинке. Крепко запертым воротам поклонилась, изловчилась было быстро сунуть почту в щель, проделанную в толстой доске, а они возьми и распахнись. Из внезапно возникшей пустоты надвинулось на Катерину бескровное искаженное лицо: корежатся сохлые губы, плавятся в безумном огне зрачки, отливает могильной синевой переносица. Батюшки светы! Хозяйская дочь! Отпрянула от нее Катерина, да увернуться не успела. Коршуном метнулась к ней полоумная, вцепилась судорожными пальцами в плечо — затрещала по шву тонкая блузка. Полетела в пыль смятая газета.

— Отстань! — подрезанно вскрикнула Катерина и едва успела прикрыть ладонью глаза.

Полоумная вжала ее в палисадник, спиной на заостренные штакетины, хлещет свободной рукой наотмашь. Белугой ревет Катерина, вырывается, а поделать ничего не может — безумная сила навалилась на нее. Страх оковал тело, в глазах все смешалось. Уж и не уворачивается от ударов.

На ее спасение бежит наискосок по косогору мать сумасшедшей — Валентина, издали вопит что есть мочи. Как знала, что в этот час на дочку затмение найдет. С утра еще приглядывалась, мыслимо, четвертую неделю несусветная жара стоит. Тут и здоровому голову напечет до умопомрачения. Подскочила она Катерину отбивать, а та, воспрянув, изловчилась, крутнулась на месте, оставила в руках дурочки рукав блузки.

Валентина дочь в спину толкает, за руки ловит, не может сразу сладить, но еле-еле утартала обратно в избу. Катерина на скамейке от пережитого страха и обиды плачет, да еще блузку жаль.

— И-испластала, и-изорвала всю, — причитает она под жарким солнцем, оглаживая свое голое плечо. — Да пропади все пропадом, откажусь вам почту носить, не нанималась...

— Ой-ойешеньки, что ж она натворила, — присоединяется к ней плаксивый голос Валентины. Она страдальчески смотрит на пухлое, в багровых вмятинах плечо. — Ты уж, Катерина, прости меня, не доглядела. Ну, что взять с дурочки. А за почтой буду теперь сама заходить. И блузку материей тебе возверну.

Валентина комкает в кулаке оторванный рукав, не зная, куда пристроить, и незаметно подсовывает его Катерине на колени. На ярком солнце слезы быстро сохнут. Всхлипнула охрипшим горлом в последний раз, бросила украдкой взгляд на горемычную Валентину. На дневном свету видно, как почернела, постарела лицом молодая еще баба, когда-то первая красавица на деревне. Пристарушилась, набросила себе годков прежде времени. Горе и не таких красивых укатывало. И видючи это, обернула свои страдания на Валентину. Чем она судьбу прогневила, откуда напасть такая свалилась? И помимо воли текут другие успокаивающие мысли: хоть у нее дома все ладно, мужик пить бросил, дети здоровы и корова — молочница. А давно ли завидки брали, как Шишмариха счастливо живет.

— Да что теперь, — вздыхает она, чувствуя, что и дышится посвободнее, и полегче на душе, — идти тебе надо, а то твоя весь дом перевернет, — и с опаской косится на окна. — Горе-горюшко, опять на нее накатило...

Прикрывая рукой нажженное солнцем плечо, медленно спускается с косогора, и Валентина провожает ее долгим беспокойным взглядом. В избу идти надо, а ноги не несут. Страшно признаться, что сама боится буйной дочери.

С весны третий год пошел, как вползла в Наталью страшная болезнь. И подсекла под корень их налаженную жизнь. С того самого мучительного дня, как привезли дочь из далекого города. Всего-то годок проучилась там, в институте — и тронулась рассудком. Люди в деревне разные догадки строят, кто ближе, кто дальше к истине. У Шишмаревых один ответ: от учебы, мол. Скрывают правду.

С усилием одолевая каждую ступеньку, поднялась Валентина на крыльцо, встала в сенях, прислушиваясь. Беснуется в горнице дочь, рвет и мечет, успокоить бы надо, а как? Не ровен час и на мать набросится. Но делать нечего, надо идти. Ни на чьи плечи беду эту не переложишь — до самого гроба нести. Измучила сердце колючая боль, а разделить не с кем. Не у кого попросить помощи. Об убогой попросить у Бога? Да как расказачили, с той поры ни церкви, ни иконы в избе, ни креста на груди. Всех разбожили. Нет у Валентины Бога, есть ли она у него?

Вздохнув тяжко, запирает дверь на все заложки, садится на стул у окна и следит, как мечется по избе дочка. Пока не выбегается — не успокоится. Надо ждать. Вернется с работы муж — станет легче. Вдвоем, ежели что, повязать дочку можно.

Василий приезжает рано, едва малиновое солнце трогает гребень сопки. Сенокосчики нынче скребут чахлую траву по низинам, у самой речки. Скрипнули распахнутые ворота. Валентина, не выходя встречать, проследила в окно, как он вкатывает во двор мотоцикл, охлопывает себя от пыли, сбрасывает на крыльце пыльные сапоги. И, заслышав, как он босиком шлепает в сенях, спешит упредить, открыть заложенную дверь. Мужик с работы вернулся, а не радостно, как бывало. Мглисто, холодно на сердце.

Наталья притихла в своей комнате, и звук отбрасываемых крючков слышен Василию с той стороны двери. Он ежится, точно за ворот рубахи сыплется сухая сенная труха, медленно переступает порог. На худых щеках вспухают желваки, взгляд тускнеет при виде жены.

— Опять Наталью забрало? — пряча глаза, глухо спрашивает он Валентину и старается не смотреть на светелку дочери. Оттуда доносится треск рвущейся ткани.

— Пикейное одеяло распускает, — испуганно шепчет Валентина, комкая ворот платья. — Откуда только силы берутся. Давеча почтальонку отмутузила...

Василий остановившимся взглядом смотрит на полуоткрытую дверь, наконец, решается и идет к дочери. Завидев его, Наталья спрыгивает с кровати, отбрасывает остатки одеяла, дико вскрикивает и, захлебываясь, лопочет, а о чем — понять не дано.

— Доча, — тянет он к ней руки, но она неуловимым, кошачьим движением отбрасывает их. Слепая безумная ярость плещется в огромных мрачных глазах. Отпрыгивает в угол. Василий пятится, захлопывает обе створки двери и закрывает на прочный, им самим излаженный засов.

— Деточка, кровиночка, да что же нам делать, искалечится же, — всхлипывает Валентина.

На что Василий устало говорит:

— Будто не знаешь что — беги, звони, пока контору на ночь не закрыли.

Валентина будто только и ждала этих слов, спохватывается, выбегает на улицу. Жара спала, но земле и за ночь не остыть. Сухой нагретый солнцем воздух неподвижно стоит над ней. На бегу она заполошно думает, что по времени пастух вот-вот коров пригонит. А еще огород не полит, муж не кормлен. Но беда подгоняет ее, надо успеть дозвониться до района. Один телефон на всю деревню.

Полпути не пробежала, навстречу машина председателя катит. Обычно проедет, не заметит, а тут не поленился, тормознул, высунул в окошко мордастую голову:

— Ты, Валентина, укороти дочь, а то бабы по деревне страсти разносят!

Задохнулась Валентина, никогда прежде не попрекал ее председатель — что вот и в их деревне своя дурочка появилась.

— Так ведь, Иван Митрофанович, не собака же, дочь, на цепь не посадишь, — ответила дерзко.

— Дождешься какой беды — не взыщи, но думай, а то я власть употреблю!

Валентина в ответ лишь рукой махнула и дальше бежать. Прошлой осенью не сумела дозвониться, пришлось двух мужиков нанимать, дочь в лечебницу везти. Дорога неблизкая — сорок километров на попутном грузовике. Совсем плоха тогда была Наталья, пришлось даже руки вязать. Будто партизанку, выводили ее из избы, усаживали в кабину. С обоих боков мужики уселись, плечами прижали. Пришлось Валентине в кузове пыль глотать. А дочка возьми да сообрази, даром что помраченная, — конвоиры-то неопытные. Упросила их руки развязать. Они только посмеивались: и, правда, куда ты от нас убежишь? Но едва высвободили Наталью от пут, она как влепит левому правой и наоборот. Машина дернулась, остановилась. Валентина чует неладное, слышит: в кабине раздается сопение и кряхтение. Глянула в заднее оконце: а они ей уже руки крутят. Спрыгнула наземь, кинулась разнимать. Осатанели мужики: не было бы ее — отколотили б Наталью.

Торопится Валентина к конторе, сердце заходится. Об одном молит про себя: лишь бы Володька, чернявенький да бравенький милиционер, на месте оказался. Он свой, местный, поймет и поможет. Участковым служил здесь, пока в райцентр не перевели. Последней опоры лишили. Один он выручал, как беда приспеет — впадет дочка в буйство, — сейчас же Валентина бежит к нему: помогай. А он безотказный — надо так надо.

В избу войдет, фуражку на гвоздик пристроит, сапоги тряпкой обмахнет, руки сполоснет и чуб казацкий расчешет. Постучит в запертую снаружи дверь светелки.

— Натаха, бравая деваха, на мне красная рубаха, отчего прячешься от меня!

За дверью — радостный визг, шуршанье, стукоток босых пяток. А секунду назад по комнате стулья летали и шторки рвались.

— Счас схвачу, защекочу! — кричит ей и делает вид, что рвет ручку двери.

В светелке еще пуще суматоха поднимается. Будто там не одна Наталья носится, а целый табунок подружек. Наконец, установится тишина — знак, что можно войти. Володька шасть за порог, а дочка уж

ему навстречу павой выступает. В белом выпускном платье, в новых туфлях, с бантом на голове, теперь уже коротко стриженной. И вся светится, дуреха, как невеста на выданье. И куда только дурь девается. Валентина, когда ее впервые такой увидела, слезами облилась. Не было на деревне девки краше, не было смышленее, да все — и ум, и красу — окаянная болезнь смыла.

У Натальи платье мято, туфли на босу ногу и пряжки не застегнуты, бант набекрень. Смех и грех. А Володьке хоть бы что, хохотнет, выслушав ее тарабарщину, и сам ввернет чепуховое словцо. В разговор свой родителей не допускают, лопочут будто два басурмана. И такое в эти минуты между ними согласие.

Валентине всегда непонятно было, откуда берется в человеке такое понимание, такое душевное равновесие. Родные мать и отец не знают, как с убогой обходиться, а ему никакого труда. Прямо лекарь. Ну да Володька — парень сердцем чистый. Недаром Наталья ни на кого другого и не взглянет. Случится, обознается, вопьется глазами в окно, забормочет, а разглядит и погаснет. Уйдет в свою комнату, уставится в пустой угол и сидит. О чем думает?

Столько Володька им добра сделал, столько помогал — вовек не расплатиться. Да и чем заплатить-то? Кто бы, кроме него, стал с Натальей возиться, да еще насмешки от деревенских терпеть. А ведь ни разу не отказался, не сослался на службу или какую другую причину. Не через свою ли безропотность и потерпел: жена, спутавшись с другим, ушла.

Так вот, посидят они часок друг с дружкой, поговорят на вывихнутом языке, и подыщет Володька подходящую минутку, предложит:

— Эх, Натаха, небесна птаха, и прокачу я тебя на мотоцикле. Поедем?

— Едем, едем! — эхом откликается она.

Рада-радехонька, что он ее из опостылевшей комнаты на волю вывезет. Сама и вещички соберет, какие скажут, сядет в мотоциклетную коляску и покатит в дурдом, подлечиться. Это и чудно: никто ведь ей о том ни полсловечка, неужто на все заранее согласна, даже на обман, лишь бы с Володькой подольше побыть? Поди тут, разберись. Да и что гадать. Сегодня нормальный человек — потемки, а ущербный тем более.

Запыхавшись, Валентина вбегает в контору и, оставляя на свежевымытом полу пыльные следы, спешит прямиком в диспетчерскую. За пультом, на крутящемся стуле сидит Колька Лопатин. У него вся связь в руках, к нему все новости по проводам стекаются. И не только. Кто-кто, а он уж подавно знает, что у Шишмаревых стряслось.

— Что, тетка Валя, опять наладилась в район звонить? — встречает он ее насмешкой. — Видать, Натаха-то приревновала почтальонку к кому.

От Кольки вреда не увидеть, грех на него обижаться. Это он по молодости лет баламутит, да найдется какая-нибудь, охомутает и поведение его выправит. Валентина ко всему терпимой стала за последние годы, вроде лишили ее такого права: на кого-то обижаться.

— Так нечего и объяснять, раз сам все знаешь. Выручать девку надо, жалко, — держит она слезы близко у глаз, более по привычке — и без них не откажет.

Колька накручивает диск телефона, связывается с девчонками на районном коммутаторе, добивается, чтобы его соединили с милицией. Валентина с надеждой смотрит на него, пытаясь определить, что там ему отвечают. Но в трубке громко трещит, щелкает, будто кто балуется в степи с проводами.

— Дежурный! Пылев на месте?! — кричит Колька как оглашенный. — Позови, у меня дело срочное. Вышел? Куда? Я откуда? От верблюда. Лопатин я, из Макеевки. Ты там новенький, что ли?

Пожимает плечами, корчит рожу невидимому собеседнику и подмигивает Валентине. Та не знает, расстраиваться или погодить. И недовольно думает, что зря Колька так вольно разговаривает с милицией. Бросят трубку — потом дозвонись. Но тот обрадованно кричит в нее:

— Вовка, ты?! Генерала неужто присвоили, раз не узнаешь. Ну, привет! Жизнь как, не заскучал по нашей дыре? Ну, это ты зря. Давай, приезжай, тут твоя невеста по тебе с ума сходит, — и хохочет, заливается обормот.

Валентина вида не показывает, что сердится на его идиотскую шутку. Не один он такой остроумный в деревне. Всякого уже наслышалась и научилась подковырки мимо ушей пропускать. Решительно рвет телефонную трубку из руки Кольки.

— Здравствуй, Владимир. Не знаю, что и делать, опять моя девка сдурела, — всякий раз одинаково говорит она. — На тебя одна надежда. Приедешь, нет ли? — облегченно вдыхает: — Ну, вот и ладно, вот и успокоил. Когда ждать-то? Одну ночь мы с отцом как-нибудь с ней сладим, — и кладет трубку.

— Едет жених-то? — лыбится конопатый Колька. Забыл уж, как вечерами напролет у их палисада топтался, заглядывался на Наталкино окно.

— Да уж он не ты, насмешник, — поджимает Валентина губы, сухо прощается и выходит из диспетчерской. До следующего раза.

Одна тяжкая обуза свалена с плеч, но, спускаясь с крыльца, спохватывается: корова не доена, грядки сухи. И ощущает сладкую тягучую истому по прежней жизни, когда могла себе позволить неспешно и достойно пройтись по вечерним улицам, раскланиваясь с каждым встречным. До того ли теперь, надо еще к Катерине забежать. В сумке лежит отрез тонкого, в розовый цветочек, дорогого батиста. Для дочки берегла, вовремя не пошила, а теперь вроде и ни к чему.

С улицы свернула в проулок к Катерининому дому. Калитку отворила — пряно пахнуло мокрыми грядками с тугой, напоенной водой зеленью. И цветы у Катерины погуще и помидоры покрепче. Так ведь несчастье ее двор не сушит. Вздохнула и кликнула в настежь распахнутую дверь:

— Катерина!

— Иду, иду, — донеслось из глубины двора.

Валентина только присела на завалинку, дух перевести, а Катерина уже тут как тут — несет из стайки тяжелое ведро парного молока. Поставила на крыльцо, освобожденно потянулась и руки фартуком вытерла — увидала отрез.

— Нет, нет, еще чего удумала, — выставила она вперед ладони. — Что мне, надеть нечего? Да и нет у меня привычки на убогих обижаться. Где покупала-то?

Глаза ее, еще секунду назад ленивые, уже ощупывают, обминают шелковистую ткань. И от этого взгляда холодеет у Валентины в груди, но только на короткий миг. Она сердится на себя, сует сверток Катерине в руки и, не оглядываясь, задами, спешит домой. Нечего жалеть потерянное, вон почтальонка какую страсть потерпела сегодня от Натальи.

Вечер пахуч, тепел, как парное молоко. Розовая пыль плавает над дорогой. Пастух Кеша давным-давно пригнал коров, и где-то бродит, беспризорничает ее Зорька. Вся накопившаяся за день усталость отда-

«Сябрына»: Беларусь — Россия

ется в ноги, Валентина невольно замедляет шаг. Подкосила ее болезнь дочки. Знала б загодя, легла бы на пороге, не пустила в треклятый город — казнит она себя. На погибель оторвала от сердца кровиночку, а думала — на счастье. За что такая кара? Неужто за радость и гордость, с какой они растили пригожую да смышленую девочку — надышаться на нее не могли. Велика ли в том вина? — не хочет соглашаться материнское сердце. Ровно кто сглазил. Как она там — приходит ей на ум — не ушиблась, не поранилась, сидючи взаперти?

После лечения Наталья с полгода спокойна, молчалива. Сидит в доме, задумчиво водит вокруг себя руками. Или бродит из комнаты в комнату, улыбаясь не своей улыбкой. И тогда кажется, что она пошла на поправку и вот-вот выздоровеет. Нет, не иначе голову ей сегодня напекло, эвон, как палило солнце весь день. Уж к каким докторам не возили, в каких только городах не бывали. Три коровы проездили. Ученые светилы разведут турусы на колесах, наговорят мудреных слов, а толку нет. Пропадает девка. Увезет ее завтра Володька в психушку, какое-то время подержат там ее на уколах. Надолго ли роздых? Вернется, сызнова все начнется. Горько знать, что не убудет несчастье. Вцепилось в них лихо, не оторвать.

— Ну, застала, приедет ли? — встречает ее Василий. Он сидит за столом на кухне, подпирая кулаком тяжелую голову, и в потемках кажется, что взор его тяжел и мрачен. Одна Валентина знает, как измаялся и исстрадался мужик. Она по-бабьи поплачет товаркам, чуточку да отмякнет сердце, поможет горючая слеза. Он же все в себе носит. Покой нужен изболевшемуся сердцу: горит оно в его груди, спалиться может. Сильный мужик Василий, а и он не выдерживает. Как-то причесывал дочь, задумался да вымолвил: «Лучше бы я с ума сошел». Что там поняла — не поняла Наталья, расхохоталась, тыча в него пальцем: «Сошел, сошел!» Он виски руками сжал, ушел прочь из дому, допоздна бродил где-то, а вернулся — вином не пахнет. Видать, и оно уже не помогает. Ни на чем их дом теперь не держится, ровно на песке-плывуне стоит. Беда одна да поминки по былому счастью.

— Дозвонилась сразу, утром обещал приехать. Он нынче свободный от дежурств, — спешит успокоить мужа Валентина. Хотя какое тут успокоение, увезут дочь — другая мука: как она там, среди чужих, без родительского присмотра, кто бы не обидел.

— Металась тут из угла в угол, думал, дверь снесет, — докладывает Василий. — Притихла, как стемнело. Пойду я, мать, огород полью, пока ночь не пала.

Валентина спешит вслед, на поиски коровы, но та уже сама прибрела, встала у поскотины, призывает хозяйку густым обиженным мычанием.

Вечерять они садятся поздно. Сиротливо ужинать вдвоем. В летней кухне вокруг керосиновой лампы роем вьется мошкара, назойливо звенит в тишине. Валентина отгоняет ее полотенцем, и молчание становится еще невыносимее. Кусок в горло не лезет, когда Наталья там голодная сидит. Мать сунулась было к ней с тарелкой, только и добилась, что потерпела убыток в посуде. Совсем осатанела дочь: родных не признает.

Так, слова не обронив, они и расходятся. Валентина спешит в дом проведать дочку. Василий опускается на теплую ступеньку крыльца и закуривает. Ночь темна, плотна, непроглядна. Лишь небо мерцает сухим звездным огнем. Дождя бы, вздыхает Василий, перебивая тяжкие мысли другой заботой. Откуда-то издали, с ближней к речке

улицы, доносятся голоса парней, всплескивает и гаснет звонкий девичий смех. На вершине сопки чей-то протяжный женский голос долго кличет заблудившегося телка. Душно, тяжко. Тоска давит грудь, и табак не помогает. Василий расстегивает на две пуговицы рубаху, глубоко затягивается папиросой.

Сзади слышны тупые удары в стену и слабый голос Валентины. Звуки эти вонзаются в спину, отдаются в сердце. Давно бы уж разорвалось оно от горя, да, видно, есть еще какой запас прочности. Держится на призрачной надежде. Верит Василий в чудо: очнется дочка, придет в себя — и все наладится. Наконец, в доме стихает. Невыносимая тишина давит на слух.

Осторожно поскрипывая половицами, из сеней выходит Валентина, присаживается рядом, обессиленная и молчаливая. Василию жаль ее, а как успокоить? Неясная вина томит его. Он тушит папиросу, прижимается к ее плечу своим плечом. В ночной, остывающей от пекла степи, подвывая, гудит машина. Молчать опостылело, а в горле сухо, не идут слова. Василий вновь лезет в нагрудный карман, вынимает папиросу, чиркает спичку. Бледное пламя на мгновение выхватывает его худое небритое лицо.

— Я тут, мать, вот что надумал, — выкашливает он горький дым, — может, послушаться нам того врача, из Кисловодска. Все лекарства на эту болезнь испробовали, одно остается средство...

— Стыд-то какой, Вася, — едва слышно отвечает Валентина и все комкает-комкает рукой у горла. От этой недавно приобретенной ею привычки еще горше, еще тоскливее Василию.

— Стыд не дым, глаза не выест, перетерпим, раз иначе нельзя. Вдруг в том спасение наше, — и решительнее досказывает, — я главный разговор на себя беру. Ты не влазь. Утром корову выгонишь, добеги до бригадира, предупреди, что я позже подъеду, дело у меня, мол.

Поднимается и идет спать. Ночь коротка. Сон тревожен. Валентина спит вполглаза, часто вскакивает, на цыпочках крадется к двери спальни дочери, припадает ухом — спит ли.

Утром оба поднимаются с тяжелым сердцем. С нетерпением ждут гостя. Он все не едет, а вот уже девять часов. Солнце вовсю припекает землю. Наталья неприкаянно бродит по избе, криво усмехается, наливается буйной силой. Василий вышел на крыльцо, глянул на небо, и показалось — на горизонте сгустилась сизая дымка, и оттуда пахнуло прохладой. И в эту минуту на улице показался мотоцикл с коляской, домчался до дома и с треском влетел по косогору.

— Приехал! — кричит Василий в дом и спускается с крыльца.

Валентина видит, как смугло румянятся щеки Натальи, как отмякает она, и несмело улыбается дочери. Ну-ка, все обойдется? Наталья подстреленной птицей летит к окну, улыбаясь, бежит обратно. И радость у нее какая-то страшная. Горячечно тараторит: слов много, а смысла нет. Одно лишь понятно: Володька приехал.

— Ну-ну, успокойся, чего уж, — успокаивает ее Валентина.

Но дочь нетерпеливо пересаживается со стула на стул, подскакивает к зеркалу, приглаживает волосы. Вспомнив, бросается в свою комнату и цепляет на шею нитку бус. Наклонив голову, слушает: как гость гремит в сенях умывальником, как поскрипывают его сапоги. И радостно вскидывается ему навстречу. Володька входит: китель нараспашку, фуражка набекрень, и улыбка во весь рот, но глаза не смеются.

— Здравствуй, птица, дай сладкой воды напиться, — с порога балагурит он и черпает ковшом из ведра. — Ни у кого такой воды не пил. Заскучала тут без меня моя Натаха, — косит на нее карий глаз и молодцевато берет под локоток.

На ее выморочном лице гуще проступает темный румянец, она радостно кивает и не сводит с него взгляда. Валентина едва сдерживает слезы. Какая девушка не позавидует ее точеной фигурке, красивому личику. Но без ума и красота не спасает. Повернулась дочь, глянула на мать — как ножом по сердцу полоснуло.

Володька нашептывает что-то ей на ушко, будто не замечая, какое дикое веселье проплескивает у нее в глазах, какой безумной силой переполнено тело.

— Ехал, ехал, елки-палки, к моей Наталке, она воды даст, а чаю пожалеет, — подначивает ее и несет вовсе несуразное, одним им понятное: тыр да быр.

Наталья бормочет, а сама призывно машет рукой матери: угощай гостя, видишь, мне некогда. Ни на шаг не отходит от него. Валентина налаживает стол. Василий сидит в сторонке, поглядывает на парочку и думает: вот неразгаданная загадка, чем он ей поглянулся. Вот бы раньше их свести, когда дочка в полном уме была. Да город поманил и отнял. Теперь поздно мечтать.

Уселись они за стол чай пить, воркуют два голубка. Все замечает Валентина: как дочка украдкой погладит Володю по рукаву, как пальчиком золотые пуговицы пересчитает, а уж как глядит — засуха материнскому сердцу.

— Кататься поедем? — торопится высказать главное Володька.

— Едем, едем, — зачарованно откликается та, не помня, на какие мытарства он ее опять везет. Соскакивает со стула и бежит в свою комнату собираться. Что за власть он над ней имеет?

Василий, улучив момент, подсаживается поближе к гостю. Володька, промявшись с дороги, не стесняясь, уплетает за обе щеки. Отощал на казенных харчах, да и то — бобылем живет.

— Может, того, по рюмочке? — покашливая, предлагает Василий.

— Да ты что, дядя Вася, — изумляется Володька, — я же за рулем!

— Ну это я так, для смазки разговора, — смущается тот и поворачивается к Валентине: — Ты бы, мать, шла, помогла собраться Наталье.

Отослав жену, с минуту молчит, сцепив тяжелые ладони, дожидается, пока Володька доест яичницу, и говорит:

— Такие вот дела... Куда мы ее ни возили, как ни лечили — все попусту. Теперь, парень, на тебя одна надежда. Ты уж не откажи...

— Угу, — с готовностью перебивает его Володька, — не впервой, не беспокойтесь, доставлю в целости и сохранности.

— Да погоди ты с целостью и сохранностью, — досадливо морщится Василий. — Не о том разговор. Я тебе обскажу. Мы когда на юге ее лечили, один врач посоветовал, ну, чтобы она родила, в общем. Так и сказал: мол, бывает, отходит дурь-то после родов. От нервного потрясения. Так ведь и верно — это же у нее не наследственное. В нашем роду чокнутых никогда не было, ты не сомневайся.

— А что мне сомневаться, я верю, — вставляет Володька и берется за стакан.

— Так это, мы тебя выбрали, — мнет Василий свой подбородок, трещит щетиной. — Она, дикошарая, окромя тебя, никого к себе не подпускает.

— Погодь, дядя Вася, что-то я не совсем тебя понимаю, — медленно произносит Володька и отставляет стакан. — Ты, надо понимать, к тому клонишь, чтобы я ей ребенка сделал? — округляет он доверчивые глаза.

— Ну, а кому же еще, едреня-феня, — облегченно выдыхает Василий, довольный его понятливостью. — Ты уж постарайся, век тебя не забудем. Мы с Валентиной еще в силе, поднимем мальца. А там, глядишь, и Наталья оклемается.

Лицо Володьки багровеет. Он испуганно смотрит на Василия.

— Да это как же, дядя Вася, разве так можно, — растерянно бормочет он. — Что я, подлец какой, чтобы ее обидеть, она и так обиженная. Нет, не могу и не буду.

— Я же не жениться тебя заставляю, почему ты понять не можешь? Не родит она без тебя, разве не знаешь? — как ребенку втолковывает ему Василий. — Один ты и способен всех нас осчастливить.

— Нет, — неожиданно твердо отрезает Володька. — Я после этого не смогу людям в глаза смотреть. Дураков нет, сразу поймут, скажут, что я на дурочку позарился. И так-то несут что попало.

Василий не ожидал такого напора. Себя сумел убедить, а уж Володьку, посчитал, сумеет уговорить. И сразу не отступился, протянул дрожащим от унижения голосом:

— По-человечески тебя прошу — помоги, не дай девке сгинуть. У нее нутро целое, родит и оживеет.

Горит огонь в груди, стыд полыхает, и ровно темная пелена застит белый свет — дожил, родную дочь предлагает. Через себя перешагнул, а ее не берут.

— А если нет, а если дурачок родится? От меня, — хриплым голосом выговаривает Володька. — Нет, я еще из ума не выжил.

Василий потерянно молчит, сказать больше нечего, после всего высказанного остается только в обморок упасть. Или сердце горлом выскочит. Володька это молчание понимает по-своему, вскакивает, натягивает фуражку и выбегает во двор. Мотоцикл его на холостом ходу скатывается по косогору, стреляет выхлопной трубой и, набирая скорость, несется по улице.

— Упустил парня, старый черт! — прилипает к окну Валентина. — Что ж теперь делать будем?

— Ничего не будем, — угрюмо отвечает Василий. — Сам отвезу Наталью в больницу. Не получился у нас разговор.

Закуривает папироску, и вроде легче становится на сердце, что тем все и закончилось. Из светелки в горницу идет собранная в дорогу Наталья. Ищет глазами Володьку, не находит, но и тени тревоги не отражает ее безмятежное лицо.

— Володя вышел, сейчас будет, — монотонно повторяет она.

— Будет, будет, — вторят ей родители. Как объяснить, что, возможно, она его больше никогда не увидит? Обманывать сил нет.

День за окном наливается безумным зноем. Воздух сух и горяч. Василий возится во дворе с мотоциклом. Валентина беззвучно плачет, отвернувшись от дочери. Одной Наталье весело, беззаботно бродит по избе. Ждет.



НИКОЛАЙ ГЕРМАНСКИЙ

Между горем и радостью

Белорусская Голгофа

Пролетала над Землею скорбь и трубила во весь голос: «Если бы не я, то мир не познал бы подлинной Красоты». Поначалу эти слова показались мне странными. Но прошло время, и я сам поставил знак равенства между невинно пролитой кровью и обнаженной радостью, которую испытал от лицезрения Красоты, возросшей на этой самой крови. Тогда я окончательно понял, что настоящая Красота рождается лишь через великую скорбь.

Мы мчались по благословенным дорогам Белой Руси, и внезапно перед нами, словно гриб, вырос указатель, такой же, как и тысячи других. Но слово, которое я прочитал на нем, обожгло мое сердце. Хатынь.

В годы Великой Отечественной здесь были сожжены ни в чем неповинные женщины, старики и дети. Машина будто бы сама повернула по указателю, и через пять километров перед нами открылось это удивительное место, которое я назвал Белорусской Голгофой.

Оно сразу захватило меня своей бездонной, радостно-печальной любовью. Я словно растворился в этой горько-сладкой чаше вселенской скорби, меня охватил необъяснимый трепет. Мне казалось, что сам Господь желал бы собрать в этом Святом месте всех страждущих странников мира — как живущих, так и почивших. Я не видел светлого Божественного Лика своими глазами, но всем сердцем ощущал, как Он наполнял Собою все вокруг и меня самого. Я понял тогда, что если бы не Его любовь, скрепившая все частички бытия, то все рассыпалось бы в мгновение ока и обратилось в Хаос. Я словно летал в этом небесно-земном пространстве, и не только мой дух, но и все мое тело жадно впитывали запахи разнотравья и полевых цветов. Я молитвенно стоял на этой Святой земле и черпал силы от благости, исходящей от нее. Кто бы знал, как мне тогда хотелось, чтобы весь мир побывал здесь вместе со мной и разделил мою радость и печаль, прикоснувшись к Красоте, возросшей на крови невинных страдальцев и мучеников.

Ни за что не поверю, что после этого люди не стали бы хоть чуточку другими!

Памятник

Сделать бы один, могучий и незримый,
Но чтоб все души в одну связал,
Не бронзовый, глиняный иль гранитный,
И чистый, как святая материнская слеза.
Который не покрылся бы пылью космической,
И не был обделан глупыми птицами,
И жил в нас не сказкой иль былью,
А совестью, честью и светлыми лицами.
Тот, что дышал бы с нами вместе
И был с нами вместе, как вечный маятник,
Как вечный хлеб из ржаного теста,
Погибшим за веру и правду — памятник.

Памяти отца

Мне не пришлось бывать под Ленинградом
В том страшном и злопамятном году,
Но часто вижу сон, как будто рядом
В свой первый бой с солдатами иду.

Взметнулись с криком над полем вороны;
Атака, взрывы, штык наперевес,
Свист пуль то там, то здесь, и кровь, и стоны,
И в самом пекле мой солдат — отец.

Еще назад минуту в мыслях дома
Он отдыхал с сынишкой и женой
И вот сейчас под карканье воронье
Идет, быть может, в свой последний бой.

Кричу ему: «Отец! Я здесь, с тобою!»
А танки, скрежеща, на нас ползут,
«Не бойся, батя, я тебя прикрою,
Они, покуда жив я, не пройдут!»

А он, собрав последние все силы,
Расчетливой крестьянскою рукой
Несет ружье, как будто те же вилы,
И не гранитный, а совсем простой.

Мне не пришлось бывать под Ленинградом
В том страшном и злопамятном году,
Но, если повторится вдруг блокада,
Поверь, отец, тебя не подведу.

Все сделаю, чтоб люди не забыли
Дни славные великих тех побед,
Когда за нас вы жизни положили
И тьму попрали, даруя нам свет.

Радость

Эй, человечек, человек, человечище, — остановись!
Не поленись и на день свой вчерашний честней оглянись.
Будто бы разом впились в сердце тысячи жал.
Человек! Ведь ты мимо себя впопыхах пробежал.

Груз предысторий давит веками — ну и пусть!
Совесть спряталась под замками — но ты не трусь!
В бою жестоком с ложью и склокой себя обрети
И не робей на тернистом и праведном этом пути.

И возвестит голосище, счастливый в предутренней мгле:
— Я родился! Впервые родился на этой земле!..

Между горем и радостью — пропасть...

Между горем и радостью — пропасть,
Между жизнью и смертью — миг,
Бьется в клетке больная совесть,
В вечных муках рождается стих.

Возомнивши себя великаном,
Хрупкий мир на краю бытия,
Упиваясь великим обманом,
Наслаждается собственным «я».

Беспробудная ложь — вот причина
Горьких слез и отчаянных бед;
Оттого, вместо лика — личина,
Вместо образа — жалкий портрет.

Жизнь и смерть

Подошел к черте я жирной,
Разделяющей пространство,
Справа — радость жизни мирной,
Слева — срам и окаянство.

Мы запутались во времени,
Потеряв когда-то вечность,
И влачится смерти бремя
Нам в нагрузку за беспечность.

Свете тихий, Свете ясный,
Неужели же напрасно
В этот мир Ты нас направил —
Мир ужасный, мир прекрасный?

Я кричу к Тебе истошно,
Что в грехе мы умираем!
Не закрой пред нами Рая,
Если можно! Если можно...

Ангелам Бреста

Было то утро до странного тихим,
Птица тревожно вскрикнула вдруг
И разбудила вселенское лихо,
Вспенился кровью Западный Буг.

Зло оголтелое возбесновалось,
Все на пути превращая в прах.
Ангела сердце слезой заливалось,
Глядя на то, как глумился враг.

Что же за сила нам помогала
Насмерть за землю родную стоять?
Что же за сила власть нам давала,
Глядя смерти в лицо, умирать?

Вы нам простите, голуби ясные,
Наше беспамятство и нищету,
Наши друг другу упреки напрасные,
Нашу увечную простоту.

Господи! Как же мы обмельчали,
Сделав успешность героем дня.
Больно, обидно, срамно и печально,
Видно, уж близится время огня.

Как ни верти, но война продолжается,
Мой дорогой, незабвенный друг,
Пусть же в сердцах наших век отражаются
Русское небо и Западный Буг.

Диалог молодых

20 декабря прошлого года в Москве, в стенах Литературного института им. А. М. Горького состоялось заседание экспертного совета, который подвел итоги первого конкурса молодых литераторов России и Беларуси «Мост дружбы», учрежденного Постоянным Комитетом Союзного государства по инициативе его Государственного секретаря Григория Алексеевича Рапоты. Цель конкурса — обратить более пристальное внимание на творчество талантливых молодых авторов двух стран, создать условия для их общения и творческого взаимодействия. В общем, сделать то, чего сегодня молодым писателям как раз очень не хватает. Для сравнения можно спросить у писателей России и Беларуси старшего поколения: что давали им регулярные встречи, переписка, перерастающие в настоящую дружбу, взаимные переводы, которые в итоге только обогащали наши литературы. Ответ будет предсказуем.

В конкурсе приняли участие более ста молодых прозаиков в возрасте от 18 до 30 лет. И это притом, что на раскачку у конкурсантов было буквально несколько месяцев, а принимались лишь те произведения, которые до этого нигде не публиковались. То есть, можно с уверенностью сказать, что его проведение стало делом благим и своевременным. Подтверждает это и качество самих работ, среди которых есть немало действительно талантливых, заслуживающих того, чтобы на их авторов обратили самое пристальное внимание те, кому небезразлична судьба молодой литературы и кто реально может что-то сделать для ее поддержки. Поэтому совершенно нелишне будет назвать имена финалистов первого конкурса «Мост дружбы». С белорусской стороны это Алена Белоножко, Маргарита Латышкевич, Дарья Вашкевич, Ольга Черкас и Николай Андреев. С российской — Сергей Лагодин, Татьяна Трофимова, Георгий Фомин, Маргарита Каткова (Урчева) и Александр Москвин. Алена Белоножко и Сергей Лагодин, согласно решению экспертного совета, признаны победителями. Их рассказы мы и печатаем сегодня в белорусско-российском выпуске «Нёмана». Произведения всех финалистов в скором времени появятся в альманахе, который сейчас готовит к печати «Издательский дом «Звязда». Что же касается членов совета, то, не скрою, было приятно работать вместе с людьми уважаемыми и авторитетными: пресс-секретарем Государственного секретаря Еленой Овчаренко, ректором Литературного института им. А. М. Горького, профессором Борисом Тарасовым, доцентом этого же института, главным редактором журналов «Проза» и «Вестник детской литературы» Александром Торопцевым, заместителем главного редактора «Литературной газеты» Алесем Кожедубом, профессором Белорусского государственного университета Анатолием Андреевым, главным редактором еженедельника «Літаратура і мастацтва» Татьяной Сивец.

Верится, у этого конкурса большое будущее. Потому что самые прочные и долговечные мосты — те, которые соединяют наши сердца.

Алесь БАДАК,
член экспертного совета конкурса молодых литераторов
Союзного государства «Мост дружбы».



АЛЕНА БЕЛОНОЖКО

Гребень в ящике

Рассказ

Ветки старой березы покачнулись, словно от резкого порыва ветра. Однако информация, полученная с трех метеозондов, свидетельствовала о том, что и сегодня ночью, и завтра днем над исследуемой местностью ожидается практически полный штиль.

Студентки задержали дыхание, опасливо переглянулись и уставились на своего научного руководителя — чернобородого мужчину, который с хитрым прищуром смотрел на березу.

— Василий Петрович! — прошептала в окологубной микрофончик рыжая девушка, откинув с лица длинную прядь волос, порядком взлохмаченных лозой и большими наушниками. — Берем?

— Пылаева, это белка... — чуть слышно ответил Василий Петрович.

— Белка? А чего ей не спится, ночь ведь? — спросила вторая девушка, коротко стриженная, с кольцом в правой брови.

— Потому что, Ханько, вы ее своими глупыми вопросами разбудили... — все так же, почти беззвучно, сказал научный руководитель, не сводя глаз с березы.

Белка, ловко махнув точеными лапками, перепрыгнула на соседнее дерево, с него — на другое, и исчезла в лесу.

Береза шевельнулась. Пылаева и Ханько сверили атмосферные данные. Ошибки быть не могло: полное затишье.

Василий Петрович поднял вверх указательный палец и присвистнул. Из соседних зарослей показалась голова молодого человека — третьего участника студенческой исследовательской группы. Парень кивнул, с тоской посмотрел в сторону березы и дотронулся до экрана планшета, который держал в руках. Сеть миниатюрных рентген-излучателей, которой были покрыты кусты вокруг березы, начала передавать на экран изображение.

На ветке березы сидело живое человекоподобное существо. «Живым» его можно было назвать только с большой условностью: существо не образовывало тепловое поле. Его температура была такой же, как и температура окружающей среды; к тому же, существо не дышало, не было видно в лунном свете и не отбрасывало тени. Несмотря на это, оно вело себя как живое: шевелилось, каталось на ветке, а через минуту даже начало петь тихим, мелодичным женским голосом.

— Она еще и поет! — возмутилась Пылаева и раздвинула лозняк, выставив перед собой маленький розовый диктофон.

— А что ей грустить: сидит на своей березе в свой праздник! — прошептала Ханько.

— А вчера нашего Яника заманила в воду, насилу спасли его! — Пылаева поправила микрофон и тревожно посмотрела в том направлении, где прятался парень.

— Это потому, что Яник был без крестика. Двоечник! — Ханько тоже посмотрела в сторону парня.

— Д-давайте н-не буд-дем ее т-трогать, — заикаясь, сказал Яник из зарослей.

— Как это не будем? — разозлилась Пылаева. — Мы на эту русалку четвертые сутки охотимся!

— Да тише вы! — шикнул на студентов научный руководитель. — Ханько! Готовьте препарат!

Ханько взяла черный пневмотический пистолетик с наклейкой-цветком на рукоятке и направила дуло на русалку. Раздался короткий хлопок. Невидимая русалка, наделав громкого шороха и треска, стекла с дерева со шприцем в левом бедре.

Василий Петрович кивнул и выпрямился. Яник отключил излучатели.

— Сейчас проявится. Сейчас.

Действительно, через несколько секунд на траве, как изображение на фотопленке, начал проступать силуэт русалки. Скоро под березой уже лежала удивительно красивая, но очень бледная девушка с волосами длиной по голень, в белой сорочке с длинными рукавами.

Василий Петрович подошел к русалке. За ним настороженно подтянулись студенты.

— Только в глаза ей не смотрите. Крестики на всех есть? — спросил Василий Петрович.

— Да. Взяли в музее под роспись! — сказала Ханько.

— Только не забывайте, что наша официальная религия — универсология, а наши боги — Наука и Эксперимент. Утром чтобы сняли крестики и вернули их в музей, — предупредил студентов научный руководитель.

Пылаева осторожно дотронулась до русалки и прошептала:

— Какая холодная!

— Конечно! Она же мертвая! — радостно объявила Ханько.

— Из-за препарата?

— Нет. Препарат ее только обездвижил, проявил и сделал осязаемой. Она мертвая сама по себе. Смотрите: след от веревки на шее. Наверное, повесилась, когда человеком была. Ценный экземпляр.

Ханько знала в теории всю русальную традицию славян и могла рассказывать о русалках сутки напролет.

— А разве не только утопленницы становятся русалками? — удивленно спросила Пылаева.

— Пылаева! — раздосадованно протянул Василий Петрович, махая затекшими от долгого сидения руками и ногами. — Я сейчас тебе поставлю «два» за знание предмета. Ханько?

— Все девушки-самоубийцы, вне зависимости от того, как распрощались с жизнью, становятся русалками. Ну, еще дети, которые умерли некрещеными или которых «приспали» невнимательные мамашки, — отчеканила Ханько.

— Интересно, она может чувствовать боль? — подумала вслух Пылаева, выдернув иглу из бедра русалки.

— Вот и выясните. Это ваш дипломный проект, а я всего-навсего научный руководитель, — Василий Петрович попрыгал на левой ноге, сделал несколько приседаний, зевнул и лениво сказал: — Запаковывайте объект — и в лабораторию. А у меня еще группа 514-с никак не

может разобраться с банником: он им уже всю сауну перевернул кверху дном. Оревуар!

Научный руководитель направился к своему автомобилю, замаскированному «под кустик». Авто заурчало, сверкнуло под луной, подмигнуло фарами и исчезло в просеке, оставив за собой тонкую фату пыли.

Пылаева и Ханько развернули термосберегающий мешок.

— В сауну поехал! — с завистью сказала Пылаева. — Конечно, там Светочка Верба в кашемировой сорочке ловит банника на голую грудь. Он такое зрелище не пропустит.

— Еще неизвестно, что она ловит, эта Светочка, и как она это потом будет лечить. Вот так веселая вдова: года не прошло, как муж утонул! Помоги-ка, Яник! — обратилась Ханько к парню, ухватив русалку за ноги.

Но парень стоял неподвижно, тихо повторяя:

— Д-давайте оставим ее т-тут. Д-давайте, а?

— Э-э, серьезно она тебя зацепила! Ты вот что... прими-ка свои седативные пилюльки и иди спать.

Ханько ухватила русалку за волосы, но тотчас же одернула руку. Из волос торчали зубчики железного гребня.

— Гребень. Железный. Острый! — Ханько облизнула пораненную ладонь.

Пылаева аккуратно вытянула гребень из волос русалки и взвесила в руке:

— О-о, тяжелый! Интересный артефакт. Сдадим на экспертизу, результаты поместим в дополнение к работе!

Девушки запаковали русалку в мешок и потянули по земле к микроавтобусу, который стоял под ольхой в полукилометре от места поимки объекта.

Парень молча последовал за ними.

Пылаева и Ханько исследовали объект в научной лаборатории. Пылаева возилась с цифрами в отделении статистики, Ханько в павильоне проводила опыты над русалкой, тестируя ее на устойчивость к разным веществам, звукам и средам. Русалка бегала внутри сферического электромагнитного вольера, силясь вырваться, но не могла преодолеть невидимый барьер, который искрил и больно бил ее током.

— Дайте мне гребень! Верните мне гребень! — кричала она, тянула руки к исследователям, но тут же получала разряд, шипела и отпрыгивала назад.

— Электричество ей не по нраву, — констатировала Ханько, когда в павильон вошла Пылаева с электронным планшетом в руках.

— А она не вырвется? — испуганно спросила Пылаева, вводя в базу данных последние показатели с датчика, вживленного русалке между лопаток, куда та не могла дотянуться своими длинными, гибкими пальцами.

— Никак. Высокое напряжение — раз, кодовые герметичные двери в лаборатории — два, постоянный надзор — три, — уверенно сказала Ханько.

— Добавь несколько единиц. Что-то мне неспокойно.

— Боишься?

— Интуиция.

— Интуиция, говоришь? Говорят, у рыжих она особенно сильно развита. Что ж, накину десяточек.

Пылаева бросила взгляд на таймер:

— Сколько она уже не расчесывалась?

— Двенадцать часов — ответила Ханько.

— Датчик показывает высокий уровень тревожности и средний — боли. Подождем еще.

— Давай, чтобы не терять время, проверим, как она реагирует на повышение и понижение температуры. Сейчас наступит зима-а-а-а...

Ханько несколько раз дотронулась до сенсорного экрана. Температура в вольере русалки начала быстро понижаться. Русалка забегала по кругу, но вскоре холод взял свое: она села, обхватив руками колени, закрыла глаза и стихла. Длинные волосы, наполненные водой, обернули ее целиком и застыли на морозе, превратившись в ледяной покров.

— Смотри, смотри: замерла! — обрадовалась Ханько и захлопала в ладоши. — Наверное, по такой же схеме они замирают в озерах на зиму. А сейчас переселим ее в Африку...

Студентка снова дотронулась до планшета. Воздух начал прогреваться. Ледяная корка на русалке обтаяла. Русалка дернулась и резко разомкнула веки. Однако через некоторое время ей стало нестерпимо жарко: она сбросила сорочку и замелькала по вольеру вдвое быстрее.

В павильон вошел Яник. Пылаева заметила его и поправила прическу. Но парень увидел русалку, вокруг которой струились длинные волосы, и застыл, словно каменный, не в силах отвести глаз. Пылаева наклонилась к Ханько и ревниво прошептала:

— Давай проверим, какой у нее самый низкий допустимый порог влажности.

Ханько кивнула и снова изменила погоду в павильоне. Вскоре кожа русалки покрылась пятнами, а волосы скрутились, как водоросли, выброшенные на берег в самый солнцепек. Русалка упала на пол и начала задыхаться.

— Хватит! Хватит! Вы же ее убьете! — закричал Яник, бросившись к приборной панели. Экстренным переключением климатической программы он вызвал над вольером тропический дождь.

Русалка лежала и ловила губами капли спасительного ливня. Яник смотрел на нее.

— Ну, ладно. Достаточно. Объявляю перерыв! — деловито сказала Ханько.

Девушки направились в уборную. У выхода из павильона Пылаева обернулась и процедила сквозь зубы:

— Ты не получишь ни Яника, ни свой поганый гребень!

Девушки вышли.

Яник выключил дождь. Русалка тяжело встала, подошла к краю барьера и произнесла:

— Вода тянет волосы... Дай мне гребень... Дай мне его...

Непреодолимая сила заставила Яника посмотреть в глаза русалки — живые, большие, наполненные слезами, как два колодца. Яник забыл, что умеет дышать, а когда вспомнил, резко втянул воздух в легкие. На ощупь открыв шкафчик, он достал оттуда гребень и бросил его русалке.

Русалка схватила гребень и всадила его в волосы. С них потекли на пол мощные струи воды. Русалка с наслаждением застонала, засмеялась, но вдруг стала серьезной и зашептала:

— Выпусти меня отсюда... Выпусти! Я сделаю тебе хорошо в ответ...

Парень окончательно провалился в бездну русалкиного взгляда. Он потянул руку к выключателю, чтобы снять с нее электромагнитный вольер, но вдруг в павильон вошел Василий Петрович.

— Яник! Яник! — позвал он.

Голос руводителя вытянул парня из сладкого марева. Яник оглянулся.

— Иди домой, — сказал Василий Петрович.

— Я побуду. Подежурю.

— Я сказал: иди. Сегодня дежурит Пылаева.

— Я подменю Пылаеву.

Василий Петрович подошел к Янику, проверил пульс на его шее, заглянул в расширенные зрачки.

— Вот что. У меня ощущение, что практическое изучение объекта представляет угрозу для твоего здоровья. Так бывает. С этой минуты я освобождаю тебя от непосредственного контакта с русалкой, в том числе и визуального. Понял? Пускай наблюдениями и опытами занимаются девушки. А ты будешь анализировать данные и работать над статистикой.

Василий Петрович силой вывел парня из павильона.

Утром Яник пришел в лабораторию раньше остальных и, несмотря на запрет, сразу направился в павильон, чтобы навестить русалку. Но первой, кого увидел парень, была не русалка.

Пылаева висела под потолком в петле из перерубленных проводов и собственных волос. Электричества в павильоне не было, поэтому вольер отсутствовал. Русалка исчезла. Кодовая дверь без электричества превратилась в кусок железа и свободно болталась на петлях. На полу павильона Яник нашел датчик.

Ханько, войдя в павильон, охнула и упала на стул, схватившись за сердце. Следом вбежал Василий Петрович. Он увидел тело Пылаевой, которое покачивалось из стороны в сторону на сквозняке, обхватил голову руками и закричал:

— Где она? Где?

Яник показал научному руководителю датчик.

— Далеко убежать не могла: обесточен только этот павильон. Она где-то на территории, — сказал Василий Петрович.

— Включим излучатели? — предложила Ханько.

— Их нельзя держать включенными постоянно. Это же радиация в огромных дозах. Будем ловить «на живца». Нужна приманка.

— Гребень! — Ханько бросилась к шкафу, но, отомкнув ее, растерянно сказала: — Изчез...

Василий Петрович вытер лоб носовым платком:

— Если гребень у нее, то теперь это не русалка, а чистый ангел смерти. Гребень придает ей силы. И за то, что мы с ней сделали, она вычешет нас этим гребнем из числа живых.

В исследовательской лаборатории было введено чрезвычайное положение. Преподавателям, студентам и лаборантам запрещалось ходить по одному и носить длинные волосы. Всем были выданы шприцы с препаратом, чтобы в случае встречи с русалкой моментально ее обездвижить. На ночь все до одного обязались покидать лабораторию.

На следующий день в холодильной комнате была найдена Ханько. В ее сердце торчал шприц с препаратом.

Через день в соседнем павильоне погибла Света Верба: как будто, оступилась и попала под сильный разряд электричества.

— Это не те жертвы, — сказал Яник над телом Вербы. — Русалка хотела затянуть в воду меня. Она не успокоится, пока не получит свое.

Вечером Яник не оставил лабораторию вместе с остальными. Он сел на пол в центре павильона и стал ждать.

Как только электронные часы обнулили время на новые сутки, в павильон вошла русалка. Она поймала своими бездонными глазами взгляд Яника, мягко улыбнулась, подошла и села рядом.

— Вот и ты... — сказала она.

— Как ты выбралась из вольера? — спросил Яник.

— Метнула гребень и перерубила им провода.

— Если тебе был нужен я, зачем столько жертв?

— Боль за боль. Кстати, те две не мучились так, как мучили меня.

— А третью за что?

Русалка провела гребнем по волосам и дотронулась до розового шрама от веревки на своей шее. Шрам покраснел.

— Смерть за смерть, — прошептала она.

Парню нестерпимо захотелось коснуться русалки.

— Скажи... почему ты лишила себя жизни? — спросил Яник и провел ладонью по ее шее.

Русалка зажмурилась от удовольствия.

— Из-за парня. Он женился на другой, — ответила она, схватила ладонь Яника и поцеловала ее.

— И где он сейчас?

— Он утонул год тому назад. Несчастный случай.

— А ее... ее вчера убило током!

Русалка засмеялась. Эхо ее смеха покатилось по коридорам, несколько раз отразилось от приборной панели и вылетело в вентиляционную шахту.

— Ты пришла за мной. Убивай. — Яник лег.

— Не хочу.

Яник встал и открыл двери лаборатории. Снаружи потянуло июньской свежестью.

— Тогда иди на волю, на свою березу.

Русалка грустно посмотрела на парня.

— Я не хочу идти. Я жить хочу. С тобой жить! — тут она заговорила быстро и сбивчиво. — Если священник набросит на меня крестик и окрестит новым именем, я стану человеком, живым человеком, и не буду помнить, что делали со мной, и что делала я! И я проживу свой век среди людей! Тебе же нравятся мои глаза, руки, мое тело? Найди священника!

— Где же я его найду? Уже целое столетие наша официальная религия — универсология...

— Я знаю, я при жизни была универсалкой... Наука не умеет воскрешать, воскрешает только вера! Ты знаешь, куда идти. Я буду ждать тебя здесь. Отнеси ему мой гребень.

Русалка воткнула гребень в волосы Яника и исчезла.

Яник подошел к маленькой церкви, которая носила статус архитектурного памятника и поэтому не была уничтожена одержимыми чиновниками-универсологами. Теперь здесь был организован «Музей христианства». В нем постоянно жил заведующий, сторож и экскурсовод — триединый профессионально и целостный духовно музейник Мирослав, о котором ходили слухи, что по ночам он тайно служит молебны и даже крестит детей.

Яник поднялся по каменным ступеням и, немного помедлив, постучал в дверь.

— Кто такой? Зачем пришел? — раздалось изнутри.

— Мне... я студент. Из лаборатории.

— Молодой универсолог. За крестиком или как?

— Нет, я... по личному вопросу.

Дверь открылась. Лысый музейник в черном балахоне прищурился, оценивая Яника, а после сделал два шага назад, пропуская парня:

— Входи.

Яник переступил порог и вошел в музей, ходить в который без научного повода у универсологов считалось страшным пороком.

Парень осмотрелся. В свете лампад за ним наблюдали изображения сосредоточенных святых. От их взглядов у Яника похолодели руки.

Тем временем, Мирослав достал из-под подола зеленую стеклянную бутылку.

— Кагор. Христова кровь! — сказал он, наливая вино в музейный экспонат — серебряную чашу, и протянул чашу Янику. — Держи.

— Я не пью.

— Я не сказал — пей, я сказал — держи, — музейник закрыл бутылку, поставил ее на пол и взял чашу с вином из руки Яника. — Я знаю: вы, ученые-универсологи, кровь не пьете. Вы ее рассматриваете в микроскоп. Вы все рассматриваете под микроскопом, а что не помещается на стеклышко, затем наблюдаете в телескоп! Как там у вас... «причинно-следственные отношения отдельных частей пространства, которые развиваются во времени...»

Яник кивнул. Мирослав отпил из кубка.

— Вы не любите жизнь, — сказал он, — вы ее препарируете. Сначала разобрали материю на частицы. Потом ткань пространства и времени размотали, поделили. Теперь вот в параллельные измерения тычетесь, как будто открываете консервы тупым ножом. Чистый бандитизм! Вас пустили в этот мир немного пожить, а вы сразу — ломать, рвать, шкодить. И называется это все у вас: «изучение законов существования». Вот тебя разорвать на части — ты долго просуществуешь?

Яник пожал плечами.

— А я знаю! — не дожидаясь ответа, сказал музейник. — Будет твое тело существовать по частям — руки-ноги — пока не сгниет, а сам ты бестелесным духом будешь блуждать в пространстве, полуживой... пока тебя не поймает какой-нибудь молодой ученый-универсолог и не истерзает, как твою русалку-универсалку.

Мирослав осушил чашу, вытер губы рукавом и произнес:

— Кстати, она вчера была тут. Сидела во-он на той березке, а в храм не вошла: конечно, куда ей, закладной! Благодать не пустит. Ждала, пока я выйду сам и без креста. Так вот, жаловалась на вас. Про тебя говорила, что придешь.

Яник достал из кармана гребень и протянул музейнику.

Музейник вытер чашу подолом и поставил ее на место. Потом он открыл большой ящик, который стоял у алтаря. Ящик почти доверху был набит гребнями: железными, серебряными, медными. Музейник положил гребень в ящик и закрыл его.

Потом Мирослав прошелся у стенда с крестами, внимательно рассматривая их, и, наконец, вынул из-под стекла один крестик, маленький, на золотой цепочке. Музейник покрутил его в руках, повернулся к парню и спросил:

— Ты мне скажи: будешь ее беречь? Потому что зачем существо очеловечивать, если оно никому не нужно?

— Буду беречь! — сказал Яник.

— Как хочешь, чтобы ее звали? Может, Марией?

— Можно и Марией. Красиво.

Священник улыбнулся:

— Вот и хорошо! Разучим тебя и ее заниматься убийствами, научим дарить жизнь... а сына вашего первого окрестим Мирославом!



СЕРГЕЙ ЛАГОДИН

Джулай

Рассказ

Жил он у самой реки на отшибе. И часто по весне его дом затопляла река.

Уже никто не строил своих домов у реки, а те, кто и решался по-глупости построить, сразу перебирались подальше: вверх от весенней злой воды.

Так и был его дом один у реки. Да и сам он жил один.

Как я помнил, он все время жил один, никто к нему не приезжал. Я как-то спросил у матери, есть ли у этого деда семья? Она в это время месила тесто на хлеб. Тут сразу оставила работу, задумалась и вымолвила:

— Да я и не помню, кто у него и был. Вроде всю жизнь бобылем прожил.

А потом опять начинала своими белыми руками поднимать мучную пыль, приговаривая про себя: «Вот бедный дед Василь, совсем себе никого не нажил. Ведь так и помрет один».

Мне было его жалко.

Все в деревне его звали дед Василь, а я — просто Дед.

Часто я помогал ему. Мать просила меня.

— Сходи к деду Василию. Мужики привезли ему на зиму дров, а поколоть-то некому. Помоги ему, а то он немощный уже.

Меня не надо было просить, я сам ходил к нему. Помогал ему по-хозяйству: носил воду, колол дрова. Он никогда не говорил спасибо. Я и не ждал благодарностей.

Он вообще был молчаливым, говорил редко. Иногда только бормочет что-то сам себе в свою светлую бороду. Кажется, хочет сказать, начнет, а не получается говорить длинно. Борода, видимо, съедает все его слова. Таких людей, как дед, называют нелюдимыми.

Я был не совсем прав, сказав, что он жил совсем один. У него была старая коза, которая уже давно не давала молока, ходила плохо, а дед ее любил. Заботился о ней, как о ребенке. Между козой и дедом я находил некоторые сходства. Например, водил дед козу в поле за деревню, чтобы она там прогулялась. Идут вместе: впереди, с костылем, прихрамывая на левую ногу, шел дед, а следом плелась коза, тоже почему-то прихрамывая на заднюю левую ногу. Да и бороды у них были похожи — седые.

Мне было интересно, почему про него так мало знали в нашей деревне. Деревня же была маленькой, как хлебная крошка! Все друг про друга знали абсолютно все.

Слышал я только, что он приехал в нашу деревню, когда ему было где-то лет тридцать. Был он крепким мужчиной.

— Не красавцем, но девки за ним бегали, — вспоминала наша соседка — старая женщина. — Потому что не пил и хозяйство умел держать.

Зарабатывал он тем, что помогал всем, кто попросит похозяйству помочь, в общем — калымил. То сено летом поможет накосить, то дров наготовить, то сруб поставить. Его уважали. Ведь не пил и не курил. И притом работал.

У самой реки построил дом и стал там жить.

— А давайте у него козу ночью уведем, вымажем ее дегтем, а поутру он проснется — а она вся черная, — Колька подбивал всех мальчишек на шалость.

Он был старше всех нас. У него были большие и сильные руки, поэтому мы его боялись.

— Я не пойду, — мне было страшновато отказывать, но и одинокого деда обижать мне тоже не хотелось.

Все остальные пацаны посмотрели на меня, как на припадочного. Всем было понятно, что Колька меня не поймет и не простит.

— Че ты, как девка, ломаешься?! — начал грозить мне Колька. — Идут все. Или ты не пацан?

— Я не пойду, — повторил я.

В одно мгновенье мне прилетел хороший удар в лицо от Кольки. От неожиданности я упал на землю. Попал точно в глаз.

— Пойдемте отсюда. Пусть посидит и подумает, — сказал довольный Колька. — А если кому проговоришься, то тебе худо будет. Понял? — Колька не простил мне ослушания.

Я ничего не ответил. Он и не ждал ответа. Он понимал, что я ничего не скажу. Догадывался, что меня потом ждет.

Я обедал после школы, когда мать вошла и сказала:

— Слыхал, у деда-то Василия козу украли. Он бедный утром рано вышел покормить, а ее нет.

— И...

— Ходит теперь ищет. Жалко деда, одна коза у него была. И та пропала. Иди, помоги ему искать, а то жалко старого.

Я тут же побежал к деду.

— А обедать кто будет?! — услышал я вслед.

— Обед потом.

Дед был у себя. Сидел он на завалинке, как крючок: что-то тяжелое, невидимое клонило его к земле. Я стоял около калитки, не решался зайти. Отчего-то я чувствовал свою вину, и мне было стыдно.

— Дед Василь, что случилось? — крикнул я ему.

Он посмотрел на меня, как в пустоту. Не узнал. Ничего не ответил.

Я не знал, что ему сказать дальше, с чего начать. Все мои слова потерялись. Да и что говорить, ведь я знал, чьих это рук дело, но ничего не мог сделать. Проговориться мне было нельзя, хотя сердце что-то подсказывало...

Через пять минут я уже был за школой: там во дворе часто собирались пацаны. Вчера там был и я, пока не получил смачную вяху.

Колька с пацанами был на месте. Было страшно получить еще, но я решил сразу начать.

— Где коза? — спросил я, собрав всю свою скуластую пацанью волю.

— Какая коза? — Колька улыбался нахально, с вызовом.

— Деда Василия! — хотел сказать я свинцово, но от волнения голос сорвался, и в конце я дал «петуха». — Я знаю, ты ее украл! Где она?

— Я ничего не знаю, — сказал он спокойным голосом. — А что, ты уже всем растрепал, что это я?

— Нет, я никому не говорил... Козу ты должен вернуть или...

— Или что... Иди ты знаешь куда... — ядовито прошипел Колька и в это же самое мгновение подскочил ко мне и ударил в челюсть.

Заболела челюсть. А сердце билось где-то у кадыка, было больно, до слез.

Я снова пошел к деду. Он был там же: на завалинке. Сидел неподвижно, с закрытыми глазами.

«А вдруг, пока я ходил, он умер», — эта дурная мысль вкралась в мою голову, и я почувствовал, что все во мне куда-то оборвалось.

— Дед Василь, что с тобой! — подбежал я к нему и начал трясти его за плечи.

Он открыл глаза и посмотрел на меня.

— Пойдем чаевать, — только и сказал он.

Дед пожарил картошку на сале до черноты. И заварил очень густой чай, который заставлял часто биться сердце.

Вдруг он заулыбался, заговорил:

— Вот сегодня сон мне снился. Снится, что черти меня на сковороде жарят. И этими меня тыкают... Вилами своими... Ну, ты понимаешь... И самое странное... Мне не больно, а обидно во сне. Обидно потому, что жарили меня без масла. Представляешь.

Он засмеялся. Я не нашел в чертях ничего смешного, но все равно улыбнулся.

— Хоть бы сала положили, черти... Все приятнее, — добавил он.

На следующий день от матери я узнал, что дед утром нашел козу привязанной к забору. В школе пацаны сказали, что привел обратно и привязал ее Колька. Вымазывать ее не стал.

Река рвала льдом берега.

В апреле весна ворвалась в нашу деревню нахраписто, по-хозяйски решив все свои дела.

Было солнечно и тепло. Снега не осталось. Только кое-где он лежал в лесу, забытый уходящей в спешке зимой.

Это самое время брать березовый сок. Мы с дедом ходили в лес за целебным соком. Уходили недалеко, сок брали совсем рядом с деревней. Дед не мог уходить далеко: ноги его подводили, а мне просто нравилось проводить время в лесу.

Когда мы выходили из леса в поле, за которым лежала наша деревня, дед приговаривал и присвистывал в сторону бесконечных сонных полей:

— Джулай, джулай, джулай.

Следом за этим нехитрым ритуалом всегда, замечал я, приходил ветер.

Эти слова были загадочны и непонятны мне.

— Что такое Джулай? — спрашивал я.

— Не знаю, — отвечал он. — Мой отец так говорил. Я у него и услыхал.

— Джулай, джулай, джулай, — повторял я и тоже присвистывал.

Дул ветер. Мы подставляли свои лица навстречу ветру, глотая весеннюю свежесть.

Я шел из школы, когда услышал крики людей около реки. Иступленные и громкие — это кричали женщины. Ледоход шумел в ответ им. Словно река решила перешуметь горластых баб.

Мне стало интересно, что там происходит. Еще издалека я увидел на берегу реки мужчин, женщин и детей. Собралась почти целая деревня. Женщины кричали, а мужики бегали и сильно ругались матом... Точно, что-то случилось.

Я побежал к реке.

То, что я увидел, меня сильно поразило.

Словно корабль, плыл по реке дом деда Василия. Река несла его по течению величаво и медленно. У почти целого дома отсутствовала только просторная веранда. Дом мог развалиться в любую секунду.

— Где дед Василь? — спросил я.

Никто не ответил мне.

— Где он? — уже прокричал.

Кто-то из мужиков ответил:

— А кто его знает? Кажись, уже утонул.

— Как утонул?

Я не мог в это поверить. Может быть, он успел выйти, прежде чем его дом подхватила река.

— Никто его не видел. Река шибко злая в этом году. Я не видел такую, как живу, — сказал еще кто то.

— А вдруг он в доме? Мало ли что? Поплыли!

— Ты что?! Дом сейчас развалится?! Ты видел реку! Льда много. Не доплыть. Кануть с концами можно.

— Да что же вы?! — с досадой прокричал я.

Я побежал к самой реке, которая гудела ото льда, и, казалось, не пускала меня. Надо было, что-то делать.

Я прыгнул в воду. Уже в воде я услышал вопль женщин.

— Потонет же! Спасай его!

Сбоку, сверху, снизу — везде был лед. Он подхватывал меня и выбрасывал из воды, но потом снова топил. Я не проплыл и двух метров, как сразу почувствовал, что иду на дно. Пальто набрало воду, и из-за этого не получалось грести.

Силы стали покидать меня. Я уже не плыл, а барахтался на одном месте, пытаясь не утонуть. Тут меня накрыла и потащила ко дну очередная льдина, выбираться сил уже не было. Я почувствовал свои тяжелые ботинки, которые уносили меня на дно. Я закрыл глаза.

«Все...» — было подумал я, как меня подхватила сильная рука и выдернула из этих ледяных оков.

Жадно вздохнул я уже на берегу. Кислород ворвался в мои упругие легкие и разорвал их изнутри. Спас и вытащил меня на берег тот самый мужик, с которым я разговаривал несколько минут назад.

— Вот дурак! Что, жить надоело? — начал ругать меня он.

Меня сводил озноб. Кто-то накинул на меня пальто.

— Да что с вами сегодня! — услышал я женский крик.

Дом уже довольно далеко отплыл. От отчаяния я был готов закричать, как увидел человека, уверенно плывшего к дому.

Это был Колька.

Он разгребал своими руками лед и плыл все дальше и дальше. Лед в ответ бил его по телу, рукам, голове. Пару раз он уходил под воду, но снова выплывал и плыл дальше...

Все было очень быстро. Он подплыл к дому, который уже начал коситься и медленно уходить под воду. Он схватился за бревно, затем —

за окно, подтянулся и быстро заглянул в него. Тут же оттолкнулся от дома и упал в воду.

Я желал теперь только одного: лишь бы он выплыл.

Он плыл к берегу, опять сражаясь со льдом. Осталось совсем немного, как вдруг его накрыло большой льдиной — будь она неладна! Он же почти доплыл!

Вытащили его мужики, которые тут же прыгнули в воду, когда он скрылся вместе со льдиной.

Колька был весь бледно-синий, его трясло.

— Там, там... — говорил ледяными губами Колька, — дед Василь, мертвый, а рядом... коза... Тоже мертвая.

Уже позже ниже по течению нашли его дом, точнее то, что от него осталось. Река безжалостно разбросала дом по всему берегу, превратив его в щепки. А деда и его козу так и не нашли. Забрала их река.

Я не часто вспоминаю о нем. Так, когда теперь приезжаю в родные края, я иду сразу в знакомый березовый лес — там мы брали сок; выхожу на знакомое поле, где мы часто с ним останавливались, и там жду холодного ветра.

— Джулай, джулай, джулай, — кричу я.



ЕЛИЗАВЕТА МАРТЫНОВА

Книга степи

* * *

Путешествуй, душа, налегке,
Утварь дома оставь и пожитки,
Оживай — то в листве, то в строке,
В свежем ливне — промокни до нитки.

Пусть твердят, что так жили до нас,
Неумело, нелепо, нескладно —
Ничего не держи про запас,
Уходи, уезжай безоглядно.

Кто нам нужен — тот с нами всегда.
Кто оставлен — тот этого стоит.
Золотая слепая звезда
Небо зоркое взору откроет.

Но легко ли идти по лучу?
В поезд поздний в потемках садиться?
Подожди, я тебе посвечу,
Тайной жизни твоей проводница.

Все как прежде: цветы пустыря,
Млечный путь и тропинка скупая,
Дом, в котором все окна горят,
Ночь горячечная, золотая.

Не достаточно ли для пути
Твоего, чтоб счастливой остаться...
Путешествуй, душа, и свети
Всем привыкшим по свету скитаться.

Перекресток

И тяжело, и сладко понимать,
Что жизнь твоя — всего лишь перекресток:
Друзья, враги и снега благодать,
А после, глядь — стоят одни лишь звезды

Над пустырем, бездонные такие,
Что страшно даже голову поднять...
О смерти, о безумье, о России —
И тяжело, и сладко вспоминать.
Но сквозь тебя пройдут века иные,
Ковыльный свет, татарская стрела,
Святые, нищие, певцы слепые
И музыка, что изгнана была.
Беззвучье, безответная зима.
Ты человеком быть переставала,
Не пела ты, а песнею была,
Ты как могла на свете выживала,
И выжила, и вскоре мною стала,
Моей душой из пепла и тепла.

* * *

Степь — это воздух, горький и густой,
Весенний, опаленный, неповинный
Ни в чем — и опьяненный высотой
И радугой крылатой и наивной.

Стань детством, степь, воспоминаньем будь —
О девочке, на станции живущей. Здесь будет город.
Здесь намечен путь
Для молодых, безудержных, поющих.

Не страшно им, что призрачен барак,
Сквозящий на ветру войны великой,
Что слишком много выпало утрат,
Что в скорбных лицах проступают лики.

Играет девочка на пристальном ветру,
Дивится травяному благолепью
И говорит, что «если я умру,
То ничего — я тоже стану степью».

* * *

Книга степи открывается враз:
Шелестом трав и мерцанием звездным —
Словно бы радость какая сбылась,
Словно бы горе исчезло бесслезно.

Ржавую пижму погладь не спеша,
Думать забудь о безумии близком.
Видишь, стрижи обучают стрижат
Небом владеть безо всякого риска?

Так же и ты свое сердце заставь
В засуху все ж расцвести при дороге,
Птицей сорваться с обрыва — и вплавь
Преодолеть облака и тревоги.

Это еще пригодится тебе
После, в дыму городском и недужном.
Книгу степи, как оружие, нужно
Прятать у сердца — на радость судьбе.

Окраина

Окраина, старая рана,
Старухи и малые дети,
Звезда, что горит неустанно —
И память, которая светит.

Утрата, еще раз — утрата,
Разлука — и снова разлука.
Жизнь — веха, горящая дата,
Луч света и горняя мука.

На фоне домов аварийных —
Израненный старостью тополь.
Здесь жили, стирали, варили
И жизнь не считали жестокой.

О чем сожалеть? Все сбывалось.
О чем говорить? Все известно.
Здесь детство похоже на старость
И старость похожа на детство.

Здесь звезды сияют упрямо,
А сердцу — светло и тревожно.
Окраина — старая рана,
Которой зажить невозможно.